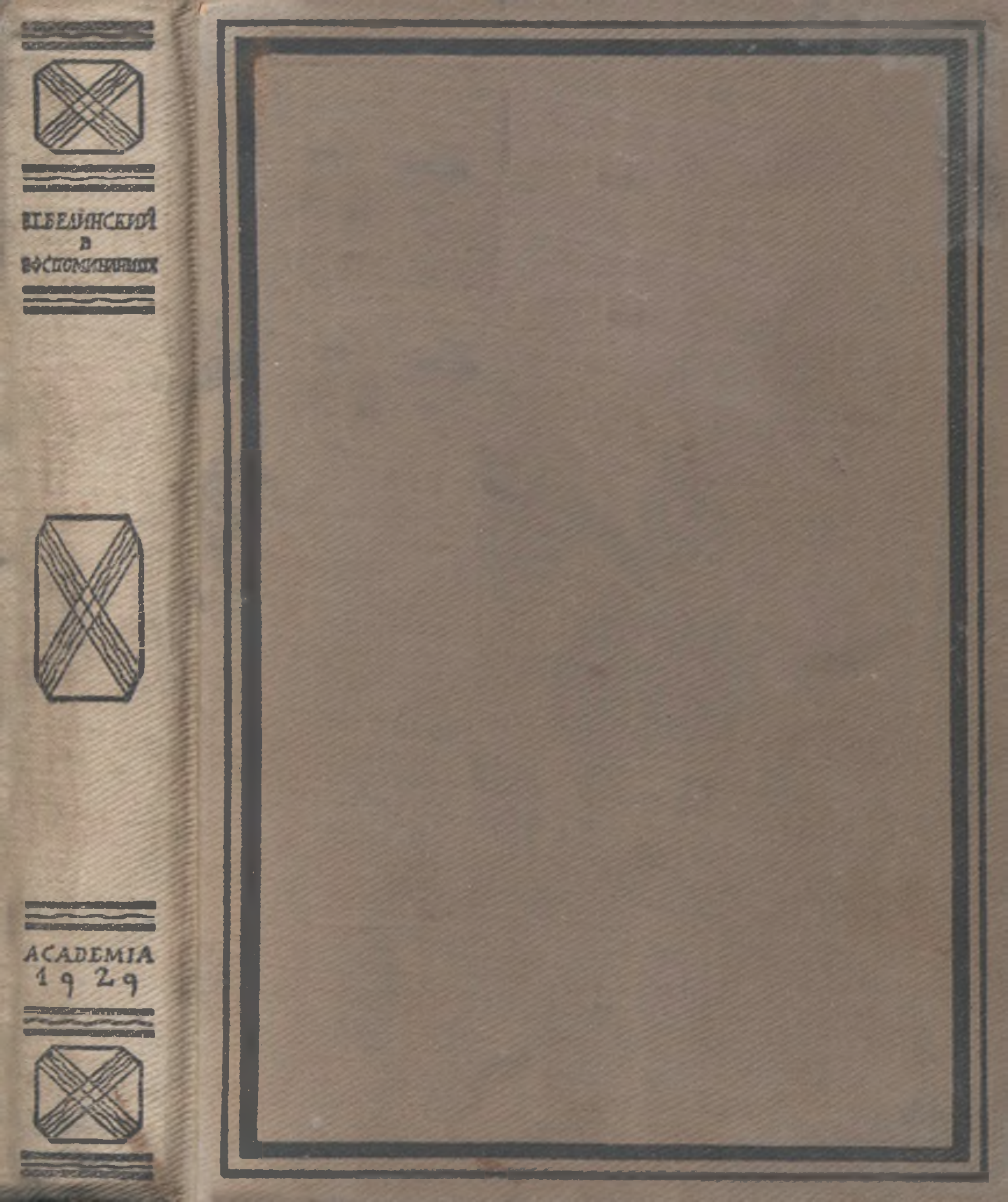

В.Г. БЕЛИНСКИЙ
В
ВОСПОМИНАНИЯХ
ACADEMIA
1929


ACADEMIA

П А М Я Т Н И К И
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О
Б Ы Т А

ВОСПОМИНАНИЯ
О В. Г. БЕЛИНСКОМ

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1929

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ

БЕЛИНСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

СОБРАЛ И КОММЕНТИРОВАЛ
М. К. КЛЕМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ И РЕДАКЦИЯ
Н. К. ПИКСАНОВА

с 30 иллюстрациями

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1929

Супер-обложка и тиснение
для переплета работы
В. П. БЕЛКИНА

Ленинградский Областлит № 22485 Тираж 5000—27½ л. Заказ № 4244.

Типография изд. „Ленинградская Правда". Ленинград, Социалист., 14.

ОТ РЕДАКТОРА

Нельзя сказать, чтобы о Белинском до нас дошло очень много воспоминаний. В помещенном ниже библиографическом указателе перечислено не больше 65-ти названий,—в то время, как для Тургенева мы можем насчитать свыше 150-ти воспоминаний, воспоминания же о Толстом надо считать многими сотнями.

В этой сравнительной скудости мемуарной литературы о Белинском, несомненно, сказалась та замкнутая жизнь, какую он вел; круг его знакомств был невелик в сравнении с Тургеневым, в сравнении же с Толстым этот круг неизмеримо мал.

Однако, качественно воспоминания о Белинском очень высоки. При своей замкнутости, Белинский был разборчив на знакомства, а его обаятельная личность влекла к нему всех выдающихся современников. Поэтому список мемуаристов, писавших о Белинском, заключает в себе блестящие имена: Тургенев, Гончаров, Достоевский, Герцен, Кавелин, Дружинин, Анненков, Григорович, Панаевы. В этом круге прославленных современников отсутствуют разве только Некрасов да Боткин не оставившие своих воспоминаний о Виссарионе Григорьевиче.

К громким литературным именам в списке воспоминаний о Белинском присоединяется значительная группа знакомых и родных, далеких и близких, закрепивших в печати свои воспоминания о Белинском, иногда написанные очень тепло, правдиво и литературно

и раскрывающие такие стороны и обстоятельства жизни Белинского, о коих молчат выдающиеся современники.

В целом же шесть десятков воспоминаний, какими мы доселе располагаем, охватывают всю жизнь Белинского—от детства до кончины, и в итоге воссоздают яркий литературный, бытовой и психологический образ славного писателя.

Перепечатать все эти воспоминания в нашем сборнике не представлялось возможным: это потребовало бы чуть ли не двух больших томов. Кроме того, среди воспоминаний есть и мелочные, и явно недостоверные и пересказывающие общеизвестное. Предлагаемый ниже библиографический перечень поможет всем желающим перечесть всё, что осталось вне нашего сборника и что является второстепенным или вовсе незначительным.

Впрочем, в нашем сборнике отсутствуют и некоторые крупнейшие мемуары: И. И. Панаева, А. Я. Головачевой-Панаевой, П. В. Анненкова и Д. В. Григоровича. Это—потому, что перечисленные воспоминания недавно выпущены отдельными книгами тем же издательством «Academia»; страницы, посвященные Белинскому, там легко найти по указателям имен.

Зато в нашей книге читатели найдут воспоминания редкие, безвестные, затерянные в старинных, недоступных изданиях: И. Шмакова, А. В. Орловой, Н. М. Сатина. Добавлю, что в примечаниях к перепечатываемым воспоминаниям нередко приводятся наиболее ценные извлечения из воспоминаний, не взятых нами целиком.

При подготовке книги надо было решить вопрос, как расположить мемуарный материал. За последнее время, по почину В. В. Вересаева, стало обычным монтировать такие хрестоматии по принципу биографической мозаики, так, чтобы отрывки разных воспоминаний располагались по периодам, отдельным памятным годам, даже отдельным событиям жизни данного писателя. Такой прием можно было бы применить и к Белинскому, в виду довольно обильного мемуарного материала. Мы предпочли этого не делать. Во первых, прием мемуарной мозаики уже был применен в общеизвестной и общедоступной монографии А. Н. Пыпина.

А главное, нам не хотелось дробить на кусочки воспоминаний, имеющих внутреннюю целостность и написанных как художественная характеристика. К тому же, во многих случаях точное хронологическое приурочение отдельных моментов рассказа бывало просто невозможным.

Поэтому мы применили иное правило: давать воспоминания о Белинском целиком, как они складывались под пером мемуариста. Исключения сделаны только в немногих случаях,—когда воспоминания о Белинском вкраплены в другие воспоминания или рассуждения. Так, мы взяли страницы воспоминаний о Белинском из общих воспоминаний Н. М. Сатина, В. А. Панаева, из «Былого и дум» Герцена, из «Дневника писателя» Достоевского.

Отмечу, что в нашем издании впервые появляется в исправном виде «Встреча моя с Белинским» Тургенева; к его же «Воспоминаниям о Белинском» впервые приведены ценные печатные варианты, ускользнувшие от внимания исследователей. Вообще, было обращено внимание на текстологическую сторону работы; воспоминания печатаются в сборнике по наиболее достоверным текстам.

Что касается порядка, в каком располагаются у нас воспоминания, то мы старались придерживаться биографической последовательности, насколько, конечно, это возможно для многопредметных и суммарных воспоминаний.

Особое внимание было обращено на комментирование мемуаров.

Здесь, прежде всего, оговаривались и исправлялись ошибочные и неточные датировки—хронологические и иные. Большую помощь при этом оказывала изданная в 1924 году «Летопись жизни Белинского». Затем, оговаривались и другие ошибки и неточности—литературные и культурно-бытовые. Неясные намеки, а также инициалы и псевдонимы, по возможности, раскрывались. О самих мемуаристах, как и о многих упоминаемых ими лицах, даются биографические и литературные сведения. В примечаниях, в дополнение к тому или другому показанию мемуариста, нередко приводятся выдержки

из таких воспоминаний, которые целиком у нас не приводятся; часто такая выдержка исчерпывает всё, что стоит внимания в таком воспоминании. Комментарии оговаривают также ту вольную или невольную стилизацию образа Белинского и его исторического значения, какая особенно стала проявляться в 50—60-х годах, когда разгоралась борьба за литературное наследие Белинского между молодой, радикально-социалистической разночинческой критикой и старой умеренно-либеральной барской литературной группой.

Комментарии написаны молодым литературоведом, хорошим знатоком Белинского и его эпохи, М. К. Клеманом. Ему же принадлежит помещенное в приложении библиографическое описание всех наличных в печати воспоминаний о Белинском. Это, образцово составленное, описание следует типу, установленному для описания мемуаров в «Тургеневском сборнике» 1915 года (работа С. П. Петрашкевич-Струмилиной) и воспроизведенному в «Некрасовском сборнике» 1918 года (работа С. Г. Тер-Микельян). М. К. Клеман еще более разработал этот стандарт, и его работа не только совершенно раскрывает в мемуарах всё содержащееся в них о Белинском, но дает ценнейшие сведения для Тургенева, Некрасова, Достоевского и других писателей,—для всей литературной эпохи 30—40-х годов.

Только благодаря всем этим комментаторским и библиографическим работам М. К. Клемана сборник воспоминаний о Белинском может удовлетворять как нуждам беспритязательного исторического чтения, так и нуждам литературоведческих исследований.

Н. Пиксанов



В. Г. Белинский

Акварельный портрет К. А. Горбунова 1838 г.

Д. П. ИВАНОВ

ДЕТСТВО БЕЛИНСКОГО

Фамилия Белынского, смягченная Виссарионом Григорьевичем в Белинского, происходит от села Белыни, в Нижне-Ломовском уезде, Пензенской губернии. Отец Виссариона Григорьевича, Григорий Никифорович, был сын священника этого села. Первоначальное воспитание свое он получил, кажется, в Пензенской семинарии, где, вероятно, и дана ему фамилия Белынского по обычаю, издавна существовавшему в семинариях, различать своих воспитанников по городам и селам, в которых они родились. Из семинарии Григорий Никифорович поступил в С.-Петербургскую Медико-Хирургическую Академию на казенное содержание, и, по окончании курса, в звании лекаря, был определен на службу в Балтийский флот. Во время пребывания своего в Кронштадте Григорий Никифорович женился на дочери какого-то флотского офицера, Марии Ивановне. Флотский экипаж, в котором служил Григорий Никифорович, стоял в Свеаборге, и там в 1810 году, февраля (?) дня, родился у него первый сын Виссарион. Заочным восприемником новорожденного был великий князь Константин Павлович. Не знаю, каких лет Висса-

рион Григорьевич был привезен в уездный город Чембар, Пензенской губернии, в который отец его, в звании штаб-лекаря, определился городовым и уездным врачом[1]). Когда я начал помнить семейство Белынских, оно состояло уже из шести человек: у Виссариона были братья Константин и Никанор и сестра Александра. Внешнее благосостояние семейства было, повидимому, удовлетворительно: у него был на базарной площади небольшой дом о 7 комнатах, довольно обширный двор с хозяйственным строением, амбарами, погребом, каретным сараем, конюшнею и особою кухнею, примыкавшею к заднему входу в дом и отделенною от него большими сенями. Позади двора тянулся довольно обширный огород, засевавшийся на лето овощами; на огороде была выстроена особая баня, с двумя передбанниками, настолько поместительная и чистая, что могла служить жильем и временным лазаретом для привозимых из деревни больных. Прислуга Белынских состояла из семьи дворовых крепостных людей, в числе которых был средних лет кучер с женою и две рослые горничные. Для личных услуг при доме употреблялись иногда оспенники: так назывались

1) Д. П. Иванов, не проставивший точной даты рождения Белинского, ошибается и в указании месяца и года. Белинский родился в Свеаборге 1 июня 1811 года. В Чембар семья переселилась в октябре 1816 года. Дмитрий Петрович Иванов — близкий родственник Белинского, учился вместе с ним в Чембарском училище и Пензенской гимназии. Дружеские отношения между ними сохранились до самой смерти критика. В 1873—1875 гг., он по просьбе А. Н. Пыпина, подготовлявшего биографию Белинского, написал две биографические записки, опубликованные Е. А. Ляцким в III томе «Писем Белинского», П. 1914. В настоящем издании перепечатывается первая из них, датированная октябрем 1873 г., и озаглавленная: «Несколько мелочных данных для биографии В. Г. Белинского».



Дом Белинских в Чембаре

мальчики, присылавшиеся попеременно от казенных крестьян и помещиков для обучения оспопрививанию. При доме содержались лошадь, две коровы и домашняя птица. Годовой доход Григория Никифоровича состоял из ограниченного жалования, к которому присоединялась особенная сумма, отпускавшаяся на содержание городской больницы и наем для нее частного дома. Практика Григория Никифоровича, хотя и была обширная, судя по густо населенному уезду, но пациенты мало платили деньгами за труды, вознаграждая их преимущественно присылкою разной провизии к годовым праздникам. Большею щедростью в этом отношении отличалась г-жа Владыкина (мать автора комедий: «Купец лабазник», «Образованность» и проч. [1]), родная племянница Григория Никифоровича, бывшая замужем за богатым помещиком. Ограниченность денежных доходов объясняется и личным характером Григория Никифоровича. Природный ум и доступное по времени образование естественно ставили его выше малограмотного провинциального общества. Совершенно чуждый его предрассудков, притом склонный к остротам и насмешке, он открыто высказывал всем и каждому в глаза свои мнения и о людях, и о предметах, о которых им и подумать было страшно. В религиозных убеждениях Григорий Никифорович пользовался репутацией Аммоса Федоровича, с тою только разницею, что не один городничий, но и все грамотное население города

1) Мать драматурга Михаила Николаевича Владыкина (1830 — 1887). С его младшим братом Иваном Николаевичем Владыкиным Белинский уехал в 1829 г. в Москву для поступления в университет.

и уезда обвиняло Григория Никифоровича в неверии в Христа, нехождении в церковь, в чтении Вольтера, Экскаргаузена, Юнга, любимых писателей Григория Никифоровича [1]). Все эти обстоятельства заставляли избегать общества с врачом, не доверять ему лечения, особенно психических болезней, происходивших вследствие желчного раздражения против провинившихся супругов, вследствие ханжества и ипохондрии. Недоверчивый и подозрительный в высшей степени, Григорий Никифорович смело обличал притворство, неохотно принимался за лечение и даже прямо отказывался от исполнения своих обязанностей там, где болезнь не угрожала видимою опасностию, и где могли обойтись домашними средствами и без его попечений. Но такое равнодушие к богатым и знатным пациентам не распространялось на бедных и действительно страждущих: Григорий Никифорович оказывал им не только личные услуги своим опытом и знаниями, но очень часто снабжал безвозмездно лекарствами и деньгами для содержания. Ограниченная, вследствие этих обстоятельств, практика почти совершенно прекратилась с появлением в уезде вольнопрактикующих шарлатанов, бродячих с походными аптеками венгерцев и особенно с водворением в городе на постоянные квартиры 9-го егерского полка. Я нарочно распространился с такою смешною наивностью о доходах и личном характере отца Белинского: я хочу показать этим на средства, какими располагал Григорий Никифорович для

1) Д. П. Иванов имеет в виду Эккартсгаузена и Юнга Штиллинга, популярных у нас в конце 18-го, начале 19 века писателей-мистиков.

воспитания своих детей, и нравственное влияние его на Виссариона, который был любимым его сыном. С самой ранней поры даровитого ребенка, отец не мог не отличить и остроумия речей, и страсти к чтению, и пытливой любознательности, с которою мальчик прислушивался к рассказам отца о прошедшем, к его суждениям о предметах, вызывающих на размышление, и мало по малу раскрывалась между ними живая симпатия, сохранившаяся навсегда и благодетельно действовавшая на обоих в резких случаях жизни. Виссарион Григорьевич и лицом более всех детей походил на отца, и один только рост наследовал от матери. Она была женщина чрезвычайно добрая, радушная, но вместе с тем крайне восприимчивая, раздражительная. Образование ее ограничивалось посредственным знанием русской грамоты. Вся заботливость ее, как и большей части провинциальных матерей, сосредоточивалась в том, чтобы прилично одеть, и особенно досыта накормить детей. Я живо помню ее бесконечные хлопоты о печении сдобных булок, о густом молоке, сливочном масле, копченых гусях. Страсть к жирной, неудобоваримой пище, перешедшая и к детям, усиливала в них золотушные начала и расположила к худосочию, что было отчасти причиною постоянных болезней желудка и преждевременной смерти Виссариона Григорьевича. Попечения о материальных нуждах детей естественно вызывали мать на частые денежные требования, которых отец, по ограниченности своих доходов, не мог удовлетворять, и это служило всегдашним поводом к размолвке между супру-

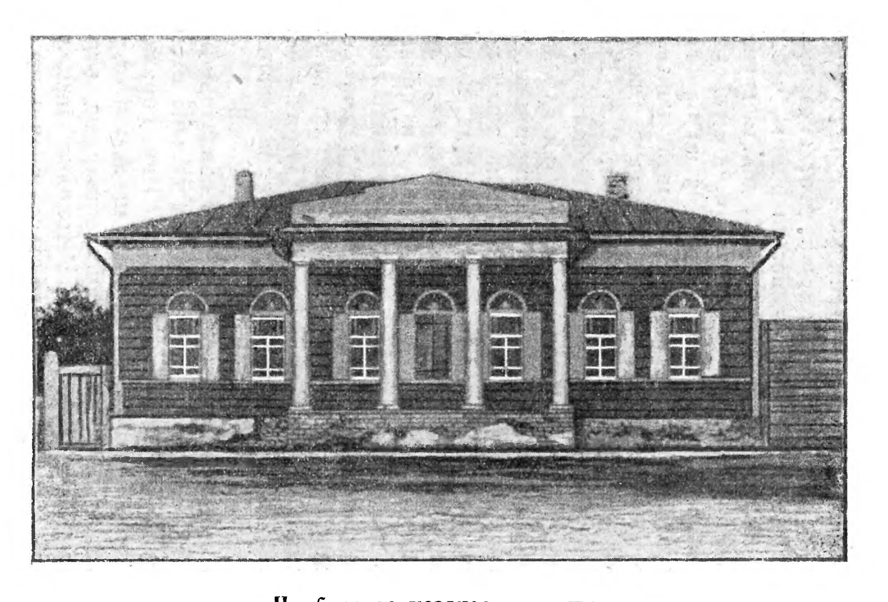
гами, которые и без того мало сочувствовали друг другу по разности характеров и воспитания. Мать не умела и не могла, вследствие раздражительности, облекать свои требования в благовидную форму; отец отвечал ей или холодным молчанием, но, чаще всего, веселою шуткою; молния более забавной, чем оскорбительной остроты зажигала грозу, и все бежало тогда в разные стороны. Спасения от этих бурь и вместе средств к их утешению Виссарион искал в нашем доме. Мать моя, родная племянница Григория Никифоровича, бежала всегда в эти скорбные минуты в дом его и своим посредничеством старалась восстановить нарушенное согласие между супругами. Благодушно перенося укоризны той и другой стороны за свое вмешательство, она не переставала бодрствовать над домом Белынских, входила в нужды семейства и ласкою, кроткими увещаниями часто успевала склонить Григория Никифоровича к удовлетворению многих мелких домашних потребностей, которые он считал прежде совершенно лишними и о которых не хотел прежде слышать, возмущенный оскорбительными представлениями жены. Отчуждение от семейных забот происходило у Григория Никифоровича сколько по отсутствию средств к их выполнению, столько же и вследствие раздражения и обиды на несправедливые обвинения и ложную подозрительность жены в предосудительном его поведении, на что он часто жаловался моей матери. Да, у жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссарион Григорьевич принадлежал к числу самых нелюбимых своею лихою мачихою. Не

радостно она встретила его в родной семье, и детство его, эта веселая, беззаботная пора, была исполнена тревог и огорчений столько же, сколько и позднейшие возрасты, и надобно было ему иметь много воли, много любви, чтобы выйти победителем из этой страшной борьбы с роковыми случайностями.

Учение Виссариона Григорьевича началось вне дома. В Чембаре и до сих пор существует привилегированная учительница русской грамоты, Екатерина Павловна Ципровская, дочь протоколиста Дворянской опеки. Целые поколения начали у нее свое азбучное образование, и до сих пор привозимые в Москву из Чембара кандидаты в учебные заведения сказывают, что у Ципровской выучились чтению и письму. В ветхом домике ее сходятся мальчики и девочки и через полгода, или через год, кончив курс чтения гражданской и церковной печати, возвращаются домой или поступают в уездное училище для дальнейшего образования.

Все дети семейства Белынских и нашего учились у Ципровской. Выучившись читать и писать у нее, Виссарион Григорьевич продолжал свое учение дома, вероятно, под надзором отца, который, помню, научил его чтению и письму по-латыни. Положительное учение началось для Виссариона Григорьевича с открытием в Чембаре уездного училища. Я и брат мой были первыми учениками, приведенными в новооткрытое заведение; через несколько дней поступил в него и Виссарион [1]). Весь педагогический штат

1) В 1822 г.



Чембарское уездное училище

училища заключался в лице смотрителя, Авраама Григорьевича Грекова, который был вместе и учителем по всем предметам училищного курса. Не знаю, откуда был прислан этот смотритель и где получил образование, но помню, что он был человек добрый и кроткий, действовавший на детей более лаской и советом, чем угрозами и наказаниями; в крайних случаях он прибегал с жалобами к родителям. Вскоре штат учителей увеличился определением в преподаватели закона божия старшего соборного священника, Василия Чембарского, и в учители русского языка исключенного из семинарии Василия Рубашевского, сына второго соборного священника. Рубашевский был страстный любитель наказаний, розог, которые он употреблял иногда в виде ласки, наказывая ими сквозь платье, ради личной потехи, совершенно невинного и прилежного мальчика; отодравши его немилосердно, старался потом успокоить поцелуями и щекоткою. Когда родители выговаривали учителю за эти выходки, он извинялся пользою будущих внушений, пленившись, вероятно, системою спартанского воспитания или обычаями своей бурсы. Благородное негодование на этот вандализм Виссариона возбудило энергические жалобы к смотрителю со стороны Григория Никифоровича, который не любил варварских наказаний и, кажется, был в городе единственным из отцов, понимавших, что для воспитания в мальчике человека не должно обращаться с ним, как со скотом. Это обстоятельство, повидимому самое обыкновенное, вполне характеризует Виссариона: в этом поступке открывался зародыш тех убежде-

ний в правах человечества, за которые всегда так горячо стоял Белинский. Надобно заметить, что он никогда не был предметом этих диких любезностей бурсака-учителя и вмешался в дело не столько по участию к товарищам, которые были моложе его классом, но потому, что находил подобные поступки возмутительными. Преподавание в училище совершалось в духе патриархальной простоты. Часто учителя оставляли нас на попечение неба, отправляясь сами по квартирам для жертвоприношений Вакху. Бывало, завидим в окно старика казначея, дети которого учились в училище, и лица наши просияют. Казначей был задушевный приятель смотрителя и, возвращаясь домой из присутствия, постоянно заходил к нему напомнить об адмиральском часе. Смотритель предупреждал приход своего друга, немедленно оставляя класс для встречи дорогого гостя. Сколько раз, руководимые личными побуждениями, мы уходили целым училищем на реку купаться и опаздывали приходом к уроку законоучителя, который, заметив, что ему доводилось быть гласом, вопиющим в пустыне, отправлялся домой.

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

ЗАМЕТКИ ДЛЯ БИОГРАФИИ БЕЛИНСКОГО

В 1823 году ревизовал я чембарское училище. Новый дом был только-что для него отстроен. (В этом ли доме, или во вновь построенном после бывшего пожара, не знаю хорошо, жил несколько времени блаженныя памяти император Николай Павлович по случаю болезни своей от падения из экипажа, на пути близ Чембара).[1]) Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною, между прочими учениками, мальчик лет 12, которого наружность с первого взгляда привлекла мое внимание. Лоб его был прекрасно развит, в глазах светлелся разум не по летам; худенький и маленький, он, между тем, на лицо казался старее, чем показывал его рост. Смотрел он очень серьезно. Таким вообразил бы я себе ученого доктора между позднейшими нашими потомками, когда, по предсказаниям науки, измельчает род человеческий. На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такою уверенностью, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу (отчего я тут же прозвал его ястребком),

1) В августе 1836 г.

и отвечал, большею частию, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном руководстве — доказательство, что он читал и книги, не положенные в классах. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывною цепью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Греков) не конфузился, что его ученик говорит не слово в слово по учебной книжке (как я привык видеть и с чем боролся не мало в других училищах). Напротив, лицо доброго и умного смотрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве собственное свое. Я спросил его, кто этот мальчик. «Виссарион Белинский, сын здешнего уездного штаб-лекаря», сказал он мне. Я поцеловал Белинского в лоб, с душевною теплотой приветствовал его, тут же потребовал из продажной библиотеки какую-то книжонку, на заглавном листе которой подписал: Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении (или что-то подобное) от такого-то, тогда-то. Мальчик принял от меня книгу без особенного радостного увлечения, как должную себе дань, без низких поклонов, которым учат бедняков с малолетства. [1]) Чембар — маленький уездный городок, не лучше посредственного села. Местоположение его и окрестностей довольно живописно.

Как говорил мне смотритель, Белинский гулял часто один, не был сообщителен с товари-

1) См. примечание в конце статьи.



И. И. Лажечников

щами по училищу, не вмешивался в их игры и находил особенное удовольствие за книжками, которые доставал, где только мог. Отец его, уроженец из Польши или западных губерний [1]), был очень беден и неизвестен дальше своего околодка.*) «Сын его Виссарион родился в наших степях, в нашей вере и был вполне русским». Общество, которое дитя встречало у отца, были городские чиновники, большею частию члены полиции, с которыми уездный лекарь имел дело по своей должности (от которой ничего не наживал). Общество это видел он нараспашку, часто за ерофеичем и пуншем, слышал речи, обращавшиеся более всего около частных интересов, приправленные цинизмом взяточничества и мелких проделок, видел воочию неправду и черноту, незамаскированные боязнью гласности, незакрашенные лоском образованности, видел и купленное за ведерку крестное целованье понятых и свидетельствование разного рода побоев и пр. и пр... [2]). Душа

1) Сообщение неверное. См. выше воспоминания Д. П. Иванова.

*) Семейство его, сколько я знаю, состояло из трех сыновей и одной дочери. Некоторые члены из этого семейства были еще живы не так давно. Один из братьев его в 1857 году служил корректором во 2-ом отдел. е. в. канцелярии; сестра его, Александра Гр., замужем за штатным смотрителем Нижнеломовских училищ Козьминым.

(Прим. И. И. Лажечникова).

2) Отец Белинского, Григорий Никифорович, «с чембарским обществом (т.-е. помещичьим) не сошелся» и находил одно утешение в «пенной» (Шугаев), но рассказы о постоянном общении его с приказной и полицейской компанией современниками оспариваются: «никогда никаких попоек ни с какими чинами полиции в доме Григория Никифоровича не бывало; он всегда держался вдали от этого общества, над которым возвышался умом, образованием, нравственными убеждениями». (Сообщения Д. П. Иванова, «Письма», т. III. стр. 406).

его, в которую пала с малолетства искра божия, не могла не возмущаться при слушании этих речей, при виде разного рода отвратительных сцен. С ранних лет накипела в ней ненависть к обскурантизму, ко всякой неправде, ко всему ложному, в чем бы они ни проявлялись, в обществе или в литературе. Оттого-то его убеждения перешли в его плоть и кровь, слились с его жизнию. Только с жизнью он и покинул их. Прибавьте к безотрадному зрелищу гнилого общества, которое окружало его в малолетстве, домашнее горе, бедность, нужду, вечно его преследовавшие, вечную борьбу с ними, и вы поймете, отчего произведения его иногда переполнялись жолчью, отчего в откровенной беседе с ним из наболевшей груди его вырывались грознообличительные речи, которые, казалось, душили его. Он действовал на общество и литературу, как врач на больного, у которого прижигает и вырезывает язвы: можно ли сказать, что этот врач не любит человечество?.. Менее страстная и энергическая натура уступила бы обстоятельствам и не совершила бы того, что он совершил в такую короткую жизнь.

По случаю перевода моего в Казань, я потерял было Белинского из виду. Знал я только, что он перешел в пензенскую гимназию в августе 1825 года (из просьбы отца его начальству гимназии о приеме его в это учебное заведение видно, что ему было тогда 14 лет). По сведениям, почерпнутым из гимназических ведомостей, видно, что Белинскому в 3-м классе отмечено: из алгебры и геометрии 2, из истории, статистики и географии 4, из латинского языка 2,

из естественной истории 4, из русской словесности и славянского языка 4, во французском и немецком языках отмечен, что не учился. *). В генваре 1829 года в ведомостях показано, что за нехождение в класс не рекомендуется, а в феврале вычеркнут из списков и рукою директора означено: «за нехождение в класс». Что ж можно вывести из всех этих отметок? Что он был нерадив к учению? Мы могли бы указать на примеры некоторых великих писателей, в том числе нашего Пушкина, которые не считались в школе отличными учениками. Но мы найдем объяснение официальной аттестации Белинского в следующем интересном свидетельстве любимого, уважаемого им учителя о любимом своем ученике.[1])

«В гимназии, по возрасту и возмужалости, он во всех классах был старше многих сотоварищей. Наружность его мало изменилась впоследствии: он и тогда был неуклюж, угловат в движениях. Неправильные черты лица его, между хорошенькими личиками других детей, казались суровыми и старыми. На вакации он ездил в Чембар, но не помню, чтобы отец его приезжал к нему в Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принимал в нем участие. Он, видимо, был без женского призора, носил платье кое-какое, иногда с непочиненными прорехами. Другой на его месте смотрел бы жалким, заброшенным

---

*) Высший бал в то время был—4.

(Прим. ред. «Моск. Вестн.»).

Более полные сведения об успехах Белинского опубликованы П. П. Зеленецким в «Историческом очерке Пензенской I-ой гимназии с 1804 по 1871 г.» Пенза, 1889, стр. 46.

1) См. примечание в конце статьи.

мальчиком, а у него взгляд и поступки были смелые, как бы говорившие, что он не нуждается ни в чьей помощи, ни в чьем покровительстве. Таков он был и после, таким и пошел в могилу».

«...Впрочем, зачем перечислять учителей? Некоторые из них были ученые люди, с познаниями, да ум Белинского то мало выносил познаний из школьного учения. К математике он не чувствовал никакой склонности, иностранные языки, география, грамматика и все, что передавалось по системе заучиванья, не шли ему в голову *); он не был отличным учеником и в одном, котором-то, классе просидел два года».

«Надобно, однако ж, сказать, что Белинский, несмотря на малые успехи в науках и языках, не считался плохим мальчиком. Многое мимоходом западало в его крепкую память, многое он понимал сам, своим пылким умом; еще больше в нем набиралось сведений из книг, которые он читал вне гимназии. Бывало, поэкзаменуйте его, как обыкновенно экзаменуют детей — он из последних, а поговорите с ним дома, по-дружески, даже о точных науках — он первый ученик. Учители словесности были не совсем довольны его успехами, но сказывали, что он лучше всех товарищей своих писал сочинения на заданные темы».

«Во время бытности Белинского в пензенской гимназии преподавал я естественную историю,

*) Из того, что он составил русскую грамматику, бывши еще в гимназии, можно заключить, что Белинский ни одним учебником по этому предмету не удовлетворялся: учась, он не подчинялся авторитетам, соображал, делал свои выводы; и там он был уж критик.

(Прим. И. И. Лажечникова).

которая начиналась уже в 3 классе (тогдашний курс гимназический состоял из четырех классов). Поэтому он учился у меня только в двух высших классах. Но я знал его с первых, потому что он дружен был с соучеником своим, моим родным племянником, и иногда бывал в нашем доме. Он брал у меня книги и журналы, пересказывал мне прочитанное, судил и рядил обо всем, задавал мне вопрос за вопросом. Скоро я полюбил его. По летам и тогдашним отношениям нашим он был неравный мне, но не помню, чтоб в Пензе с кем-нибудь другим я так душевно разговаривал, как с ним, о науках и литературе».

«Домашние беседы наши продолжались и после того, как Белинский поступил в высшие классы гимназии. Дома мы толковали о словесности; в гимназии он, с другими учениками, слушал у меня естественную историю. Но в казанском университете я шел по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себе, что иногда происходило в классе естественной истории, где перед страстным, еще молодым в то время, учителем сидел такой же страстный к словесности ученик. Разумеется, начинал я с зоологии, ботаники или ориктогнозии [1]) и старался держаться этого берега, но с средины, а случалось и с начала лекции, от меня ли, от Белинского ли, бог знает, только естественные науки превращались у нас в теорию или историю литературы. От Бюффона-натуралиста я переходил к Бюффону-писателю, [2])

1) Ориктогнозия—минералогия.

2) Бюффон, Жорж-Луи Леклерк, французский ученый (1707—1788).

от Гумбольдтовой [1]) географии растений к его «Картинам природы», от них к поэзии разных стран, потом... к целому миру в сочинениях Тацита и Шекспира, к поэзии в сочинениях Шиллера и Жуковского... А гербаризации? Бывало, когда отправлюсь с учениками за город, во всю дорогу, пока не дойдем до засеки, что позади городского гулянья, или до рощей, что за рекой Пензой, Белинский пристает ко мне с вопросами о Гете, Вальтер Скотте, Байроне, Пушкине, о романтизме и обо всем, что волновало в то доброе время наши молодые сердца».

«Тогда Белинский, по летам своим, еще не мог отрешиться от обаяния первых пушкинских поэм и мелких стихов. Неприветно встретил он сцену: «Келья в Чудовом монастыре». [2]) Он и в то время не скоро подавался на чужое мнение. Когда я объяснял ему высокую прелесть в простоте, поворот к самобытности и возрастание таланта Пушкина, он качал головой, отмалчивался или говорил: «Дайте, подумаю, дайте еще прочту». Если же с чем он соглашался, то, бывало, отвечал с страшной уверенностью: «совершенно справедливо!»

«Журналистика наша в двадцатых годах выходила из детства. Полевой передавал по Телеграфу идеи Запада, все, что являлось там нового в области философии, истории, литературы и критики. [3]) Надоумко смотрел исподлобья, но

---

1) Гумбольдт, Александр Фридрих Генрих, немецкий ученый и путешественник (1769—1854).

2) Эта сцена из «Бориса Годунова» Пушкина была впервые напечатана в «Моск. Вестнике», 1827 г., часть I, № 1.

3) Намек на «Московский Телеграф», издававшийся Н. А. Полевым с 1825 г.

глубже Полевого, и знакомил русских с германской философией. [1]) Оба они снимали маски с старых и новых наших писателей и приучали судить о них, не покоряясь авторитетам. Белинский читал с жадностию тогдашние журналы и всасывал в себя дух Полевого и Надеждина [2]).

«Он уехал в Москву в августе 1829 г.»

Это свидетельство, неофициальное, не требует комментарий. Скажу только, что в школе любимого своего учителя гениальная натура Белинского начала свое настоящее образование; здесь была ее гимназия.

В 1829 году жил я в Москве. В этот и следующий год являлись ко мне молодые люди, исчерпавшие глубину премудрости пензенской гимназии и переходившие в московский университет, который, преимущественно перед другими университетами, обаятельно привлекал к себе юношей изо всех мест. Они являлись ко мне или по старой памяти, или с рекомендательными письмами доброго М. М. П[опова], который заботился об них, как самый близкий родной, и за пределами гимназии. Мое дело было приютить их на первых порах в Москве, казавшейся этим дальним странникам из степей каким-то Вавилоном, похлопотать скорее пристроить бедняков в университет, и, если можно, на казенный кошт, руководить их советами, пригреть их в сиротстве добрым, ласковым словом, помочь им, чем и

1) Никодим Надоумко—псевдоним Н. И. Надеждина.

2) К. А. Полевой вспоминает: «Белинский признавал себя учеником «Московского Телеграфа». Много раз говорил вам, что еще живши в своей губернии, читал, перечитывал этот журнал, воспитывал себя его идеями и направлением». («Сев. Пчела», 1859 г., № 229).

как позволяли мои скудные средства. Эти обязанности считал я самыми приятными; в числе этих молодых людей был и Белинский.

В 1830 году задумали мы с М. М. П[оповым] альманах Пожинки, и вербовали из пензенцев более даровитых молодых людей себе в сотрудники. Издание этого альманаха не удалось. Вот письмо, писанное по этому случаю 19-летним Белинским своему бывшему наставнику; оно интересно выражениями гордого, благородного характера юноши, никогда неизменявшегося и впоследствии, несмотря ни на какие обстоятельства, и процесса, каким выработывалось в его душе истинное его призвание.

Москва, 1830 года, апреля 30 дня.

Мил[остивый] г[осударь]

М. М!

В чрезвычайное затруднение привело меня письмо моего родственника: «М. М., пишет он, издает с И. И. Л[ажечниковым] альманах и через меня просил вас прислать ему ваших стихотворений, самых лучших». Не могу вам описать, какое действие произвели на меня эти строки: мысль, что вы еще меня не забыли, что вы еще также ко мне благосклонны, как и прежде; ваше желание, которого я, несмотря на пламенное усердие, не могу исполнить, — все это привело меня в необыкновенное состояние радости, горести и замешательства. Бывши во втором классе

гимназии, я писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского; но времена переменились. Вы знаете, что в жизни юноши всякий час важен: чему он верил вчера, над тем смеется завтра. Я увидел, что не рожден быть стихотворцем и, не хотя идти наперекор природе, давно уже оставил писать стихи. В сердце моем часто происходят движения необыкновенные, душа часто бывает полна чувствами и впечатлениями сильными, в уме рождаются мысли высокие, благородные—хочу их выразить стихами— и не могу! Тщетно трудясь, с досадою бросаю перо. Имею пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имею душу пылкую и, при всем том, не имею таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Рифма мне не дается и, не покоряясь, смеется над моими усилиями; выражения не уламываются в стопы, и я нашелся принужденным приняться за смиренную прозу. Есть довольно много начатого — и ничего оконченного и обработанного, даже такого, что бы могло поместиться не только в альманахе, где сбирается все отличное, но даже и в Дамском журнале! [1]) В первый еще раз я с горестию проклинаю свою неспособность писать стихами и леность писать прозою.

Мне давно нужно было писать к вам, но я не могу сам понять, что меня от сего удерживало, и в сем случае столько перед вами виноват, что не смею и оправдываться.

---

1) «Дамский журнал» кн. П И. Шаликова (Москва, 1823—1833) был поздним отголоском сентиментализма, и служил мишенью для насмешек тогдашних журналов.

Вы писали обо мне И. И. Лаж[ечникову], я это как бы предчувствовал в то время, как вы вручали мне письмо. Благородный человек, скажите: чем я могу вам заслужить за это? Столько ласк, столько внимания и, наконец, такое одолжение! Ищу слов для моей признательности и не нахожу ни одного, которое бы могло выразить оную. Вы доставили мне случай видеть человека, которого я всегда любил, уважал, видеть и говорить с ним. Он принял меня очень ласково и, исполняя ваше желание, просил обо мне некоторых из г.г. профессоров, но просьбы его и намерение оказать мне одолжение не имели успеха: ибо я, по стечению некоторых неблагоприятных для меня обстоятельств, не мог ими пользоваться.

Я не из числа тех низких людей, которые тогда только чувствуют благодарность за прилагаемые об них старания, когда оные бывают не тщетны. Хотя моим поступлением в университет я никому не обязан, однако, навсегда останусь благодарным вам и И. И. Если ваше желание споспешествовать устроению моего счастия не имело успеха, то этому причиною не вы, а посторонние обстоятельства. Так, милостивый государь, если моя к вам признательность, мое беспредельное уважение, искреннее чувство любви имеют в глазах ваших хотя некоторую цену, то позвольте уверить вас, что я оные буду вечно хранить в душе моей, буду ими гордиться. Уметь ценить и уважать такого человека, как вы — есть достоинство, заслужить от вас внимание — есть счастие.

Но, может быть, я утомил вас изъяснением моей благодарности. Извините меня: строки сии не суть следствие лести, нет: это излияние души, тронутой, сердца, исполненного благодарности; чувства мои неподдельные: они чисты и благородны, как мысль о том, кому посвящаются. Для меня нет ничего тягостнее, ужаснее, как быть обязанным кому-либо: вы делаете из сего исключение, и для меня ничего нет приятнее, как изъявлять вам мою благодарность.

Извините меня, если я продолжительным письмом моим отвлек вас от ваших занятий и похитил у них несколько минут. Итак, вторично прося у вас извинения за то, что я не засвидетельствовал прежде вам моей благодарности, остаюсь с чувством глубочайшего уважения и готовностию к услугам вашим,

ученик ваш

Виссарион Белинский.

Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня; мы сблизились, несмотря на расстояние лет; не было заботы и надежды, не было юношеского увлечения, которых он не поверял бы мне; случилась мне и отечески пожурить его. По моему совету, он обещал мне заняться французским и немецким языками, тогда ему малодоступными.

«Чрез полтора года, — пишет ко мне М. М. П[опов],—как после отъезда Белинского из Пензы я отправился в Петербург, на пути, в Москве, я пробыл дня три: это было во время масленицы

1831 года. Каждое утро приходили ко мне племянник мой и Белинский. Потом, возвращаясь от вас или из театра, я опять встречал их в моей квартире. Прежние разговоры у нас возобновились. Тут я увидел большую перемену в Белинском. Ум его возмужал; в замечаниях его проявлялось много истины. Там прочли мы только-что вышедшего тогда «Бориса Годунова». [1]) Сцена «Келья в Чудовом монастыре» на своем месте, при чтении всей драмы, показалась мне еще лучше. Белинский с удивлением замечал в этой драме верность изображений времени, жизни и людей; чувствовал поэзию в пятистопных безрифменных стихах, которые прежде называл прозаичными, чувствовал поэзию и в самой прозе Пушкина. Особенно поразила его сцена «Корчма на литовской границе». Прочитав разговор хозяйки корчмы с собравшимися у нее бродягами, улики против Григория и бегство его через окно, Белинский выронил книгу из рук, чуть не сломал стула, на котором сидел, и восторженно закричал: «Да, это живые; я видел, я вижу, как он бросился в окно!..» В нем уже проявился тот критический взгляд, который впоследствии руководил им при оценке сочинений Гоголя. [2])

После того между мною и Белинским не было сношений до переезда его в Петербург. В этот промежуток он выступил в московских журналах на литературное поприще. Из первой же кри-

---

1) Первое отдельное издание «Бориса Годунова» вышло в 1831 г. (дата разрешения—24 дек. 1830 г.).

2) Имеется в виду статья «О русской повести и повестях Гоголя». (1835 г.).

тической статьи его (1834) «Литературные мечтания» видно было, что он угадал талант свой. [1]) Тогда вспомнил я, что и в годы ученья он обнаруживал больше всего способность к критике; что душою его мыслей, разговоров его всегда были суждения о писателях. Еще в гимназии он пробовал писать стихи, повести, прозой — шло туго, не клеилось; написал грамматику — не годилось. Принялся за критику и — пошло писать... После того ни грамматика, ни служба, ни общественные развлечения, ни жажда денег, ни слава быть стихотворцем или беллетристом ничто уж не совлекало его с избранного пути... Он родился, жил и умер критиком». [2])

М. М. П[опов] в этом письме прибавляет:

«Белинского я так долго и коротко знал, что могу рассказать весь тайный процесс его умственного развития».

«Прежде говорил я, что в гимназии учился он не столько в классах, сколько из книг

1) «Литературные мечтания» не были первой критической статьей Белинского. Еще в 1831 г. в № 45 «Листка» им была помещена рецензия на брошюру: «О Борисе Годунове», соч. Александра Пушкина. Разговор». (1831). Есть основания предполагать, что в «Телескопе» и «Молве», где помещались в 1833 и 1834 гг. переводы Белинского, были напечатаны без подписи некоторые его рецензии и библиографические статейки.

2) Здесь любопытно указание, что еще в гимназии Белинский начал работу над своей грамматикой; возобновил он ее в 1834 г., а в 1837 г. выпустил отдельным изданием «Основания русской граматики для первоначального обучения. Часть первая. Грамматика Аналитическая. (Этимология)». Ранние стихотворные опыты Белинского не сохранились. Дошло описание «Записной книжки», содержащей разные стихотворения, собранные В. Г. Б — им. (Н. Рыбкин, «Материалы к библиографии Б—го и Лермонтова», «Истор. Вестник», 1881, № 10). Одно свое стихотворение «Русская быль» В. Г. напечатал в № 40—41, 1831 г. «Листков» кн. Д. В. Львова — это первое его выступление в печати.

й разговоров. Так было и в университете. Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее же в том пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей, если не глубоко ученых, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения.[1]) Эти люди, большею частию молодые, кипели жаждою познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы. Каждый из них не был профессор, но все вместе по части философии, истории и литературы, постояли бы против целой Сорбонны. В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи. Друзья и не замечали, что были его учителями, а он, вводя их в споры, горячась с ними, заставлял их выкладывать перед ним все свои познания, глубоко вбирал в себя слова их, на лету схватывал замечательные мысли, развивал их далее и объемистей, чем те, которые их высказывали. Таким обра-

1) Имеется в виду кружок Н. В. Станкевича, оказавший огромное влияние на выработку взглядов Б — го. Сложился кружок в 1831 г., в состав его входили: О. Строев, А. Беер, В. Красов, Я Почека, А. Ефремов, позднее К. Аксаков, П. Я. Петров, О. М. Бодянский, И. Клюшников, еще позднее, с 1835 года, М. Бакунин и В. Боткин. Когда именно Белинский примкнул к кружку, точно установить нельзя, в 1833—1834 гг. он был уже другом Н. В. Станкевича. «Литературные Мечтания» были своего рода манифестом этого кружка.

зом, не погружаясь в бездну русских старых книг, не читая ничего на иностранных языках, он знал все замечательное в русской и иностранных литературах. В этой-то школе вырос талант его и возмужало его русское слово».

В 1832 году, бывши уже на втором университетском курсе, он написал драму, в которой живо затронул крепостной вопрос. Я предсказал ему судьбу его; действительность оправдала мое предсказание.[1]) Это его очень огорчило. С того времени стал он нерадиво посещать лекции и вскоре перестал ходить на них. Жизнь его помутилась... Но дремота его духовных сил была не долговременна; ни люди, ни обстоятельства не могли их подавить в этой юной, но уже непреклонной натуре. Дары от бога, не от людей, не пропадают. В 1834 году появилась в нескольких нумерах «Молвы» блистательная статья его под названием: «Литературные мечтания, элегия в прозе». Мало кому из молодых писателей случалось начинать свое поприще так смело, сильно и самостоятельно. Белинский выступил в ней во всеоружии даровитого иноватора. Изумление читателей было общее. Кто был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою юноши, недоучившегося студента (как узнали вскоре), семинариста (как называли его иные), одним словом, человека без роду племени, кумиры их сбиты с пьедестала, на котором они, казалось, стояли так твердо. Поклон-

1) Драма Белинского «Дмитрий Калинин» была окончена в январе 1831 г. Запрещение ее Московским Цензурным Комитетом послужило причиною исключения Белинского из университета.



Белинский в кружке Н. В. Станкевича. Акварель А. Ф. Максимова.

ники этих кумиров, провожая их по течению леты, как ни кричали им: «батюшки, выдыбай!» сколько ни делали усилий пригнать их к вожделенному берегу, не многие из них спаслись от потопления. С этой поры Белинский угадал свое призвание, и не ошибся в нем. Критик, какого мы до него не имели, он до сих пор ждет себе преемника. Что бы ни говорили об его ошибках (не мое дело здесь защищать его: я не пишу критического разбора), за ним навсегда останется слава, что он сокрушил реторику, все натянутое и изысканное, всякую ложь, всякую мишуру, и на место их стал проповедывать правду в искусстве (разумея тут и правду художественную). Рядом с его теорией шли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Даль, артисты Мочалов и Щепкин; за нею следовала целая плеяда высокодаровитых писателей, и во главе их Тургенев, высокий поэт и в самых мелких из своих произведений. И теперь вновь выдвинувшиеся из литературных рядов деятеля вышли из его школы. Артисты Мартынов и Садовский принадлежат к ней. Лучшие критики нашего времени живут ее началами. Те из них, которые фантазируют свои новые туманные теории, ими самими непонятые, тем более другими, еле-еле дышат.

Никто, как Белинский, не сокрушал так сильно ложных знаменитостей; никто, как он, так зорко не угадывал в первых опытах молодых писателей будущего замечательного таланта, не упрочивал так твердо славы за теми, кому она, по его убеждениям, следовала. Убеждения были в нем так сильны, он так строго, так

свято берег их от старых литературных уставщиков, что был сурово-неумолим для всего, в чем видел даже малейшее уклонение от правды в искусстве, неумолим для всех дальних и близких, в которых замечал это уклонение, принадлежали ли они к временам Августа, Людовика XIV-го, Екатерины II-й, или к его времени. Став на страже у алтаря правды, он готов был поднять камень и против друга, который осмелился бы обратиться спиной к его богине.

Писал ли он об учебной книге, о воспитании, о художественном произведении, об игре актера в Гамлете, [1]) каждая статья, хотя и писанная на срок, для журнала, заключала в себе целую теорию искусства, воспитания, общественной и личной нравственности. Откладывать написанное для просмотра, очищать, обтачивать было некогда и не по нем; тут все правила Буало (которого он и терпеть не мог)—за окошко. Пуризм был для него своего рода реторика. Между тем язык его прост, ясен, энергичен, вычеканивает мысль верно, четко, в обрез, как мастер выбивает из слитка благородного металла, только что вынутого из горнила, крупные монеты с новым художественным штемпелем, которые ложатся одна за другою, как жар, горящими рядами.

«Перечтите,—говорит М. М. П[опов],—статьи Белинского, написанные превосходным русским языком: сколько в них мыслей, высокого ума, сколько одушевления!.. Это не сухие разборы, не повторения избитого, не журнальный балласт,

---

1) Статья «Гамлет», драма Шекспира, Мочалов в роли «Гамлета» (1838).

но сочинения, дышащие жизнью, самобытные и увлекательные! Он был столько же замечательный литератор, сколько замечательный критик. По таланту критика у нас до сих пор никто не превосходил Белинского; как литератор—он один из лучших писателей сороковых годов».

Приехав однажды в первых тридцатых годах из Твери в Москву, я хотел посетить Белинского и узнать его домашнее житье-бытье. Он квартировал в бель-этаже (слово это было подчеркнуто в его адресе), в каком-то переулке между Трубой и Петровкой. Красив же был его бель-этаж! Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться к нему надо было по грязной лестнице; рядом с его коморкой была прачешная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью! Каково было слышать за дверьми упоительную беседу прачек и под собой стукотню от молотов русских циклопов, если не подземных, то подпольных! Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой (хотя я не застал хозяина дома), потому что в ней нечего было украсть. Прислуги никакой; он ел, вероятно, то, что ели его соседки. Сердце мое облилось кровью... я спешил бежать от смраду испарений, обхвативших меня и пропитавших в несколько минут мое платье; скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего России уже свое имя!

Между разными средствами, которые мы отыскивали с Белинским, чтобы вывести его из этого ужасного положения, придуман был один и одобрен нами: идти ему в домашние секретари к одному богатому аристократу, страшному охотнику писать и печататься. Он известен в литературе под именем, помнится, Прутикова. Обязанности секретаря состояли также, как и соседок прачек, в том, чтобы чистить, штопать и выглаживать черное литературное белье его превосходительства. Зато стол, квартира, прислуга в богатом доме и небольшое жалование, чего же лучше! Дело было легко уладить. Прутиков не раз обращался ко мне с просьбой, по дружбе, взглянуть на его творения и, если мне не в тягость, поправить кое-где грамматические и другие погрешности. Но когда догадался, что это занятие не по мне, стал уже просить меня приискать ему в помощники н а д е ж н о г о студента. Под этот случай попался Белинский.

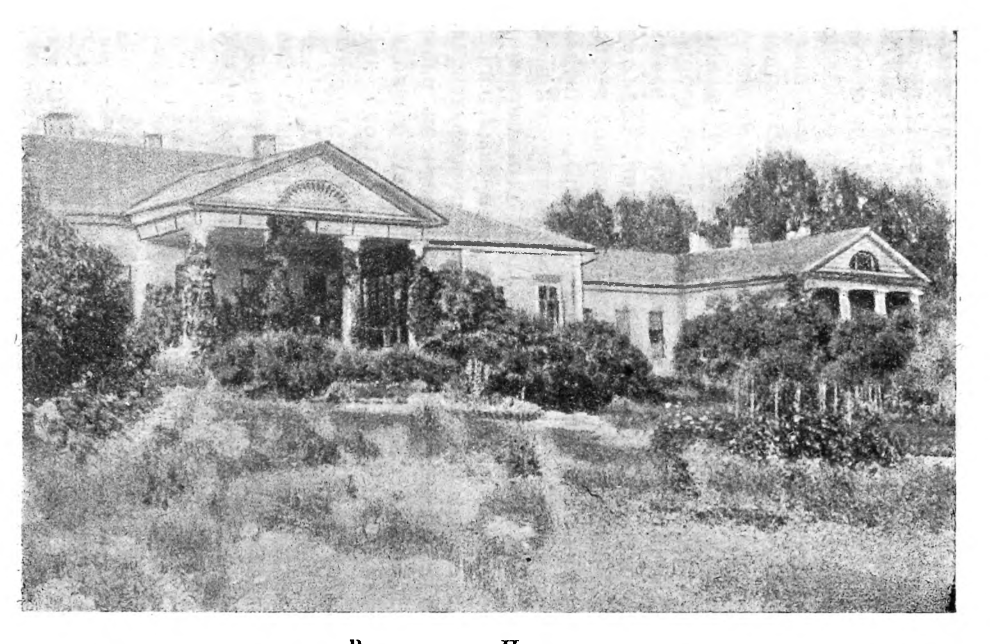
Вскоре он водворен в аристократическом доме, пользуется не только чистым, даже ароматическим воздухом, имеет прислугу, которая летает по его мановению, имеет хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей (одна дочь его превосходительства музыкантша), располагает огромной библиотекой, будто собственной, одним словом, катался, как сыр в масле. Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственною рукой писать им приговоры, действовать против совести. И вот,

в одно прекрасное утро, Белинский исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает с своим добром, завязанным в носовой платок, и с сокровищем, которое он носит в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря. Шаги его направлены к такой же убогой квартирке, в какой он жил прежде. Голова его высоко поднята, глаза его смело смотрят в небо; ни разу они, также как и сердце, не обратились назад к великолепным палатам им оставленным. Он чувствует, что исполнил долг свой. [1])

В одном из уездов Тверской губернии есть уголок (Пушкин некоторое время жил близ этих мест, у помещика Вульфа), на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране

---

1) Эпизод этот, относящийся к концу 1834 года, известен только по воспоминаниям Лажечникова. 26 ноября 1834 года Лажечников писал Белинскому из Твери, что рекомендовал его «почтенному старичку» Александру Марковичу Полторацкому, который имел страсть печататься и был известен по псевдониму «Доримедона Прутикова». «Ему хочется напечатать свои юмористические статьи. Есть в них вещи порядочные, есть и много мусору, но грамматики ни на волос; иногда едва доберешься до смыслу. Возьмитесь переписать и переправить годное и выкинуть негодное, словом—вымойте ему почище белье литературное; за труды он будет признателен». (А. Н. Пыпин, «Белинский, его жизнь и переписка», изд. 2-ое, стр. 71). Несколько статей его напечатано в «Новом Живописце», приложении к «Московскому Телеграфу» (список их приведен С. А. Венгеровым в полн. собр. соч. Белинского, т. II, стр. 600). Отдельным изданием вышли в 1836 г. «Провинциальные бредни и записки Доримедона Васильевича Прутикова», встреченные Белинским в «Молве» суровой рецензией.



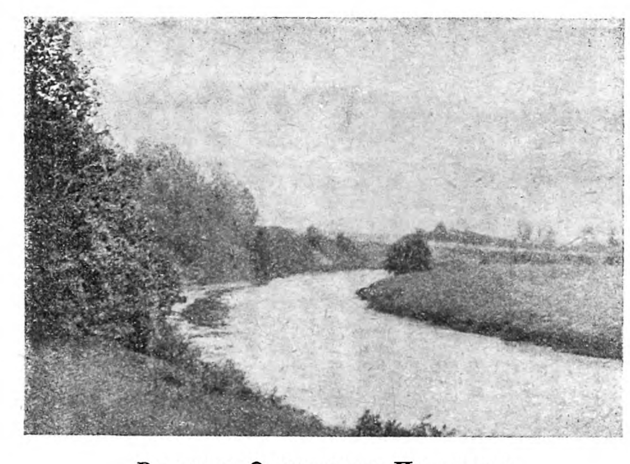
Вид дома в Премухине

семимесячных снегов.[1]) Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Зато как было тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному! Художник, музыкант, писатель, учитель, студент, или просто добрый и честный человек, были в нем обласканы равно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству. Душою дома был глава его, патриарх округа. Как хорош был этот величавый, слишком семидесятилетний старец, с непокидающею его улыбкой, с белыми, падающими на плеча волосами, с голубыми глазами, ничего не видящими, как у Гомера, но с душою, глубоко зрящею, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали лета, свыкнувшись только с его добротой и умом.[2])

---

1) Имение Александра Михайловича Бакунина, отца известного впоследствии анархиста Михаила Бакунина, Премухино, Новоторжского уезда, Тверской губернии, на берегу Осуги, притока Тверцы.

2) А. М. Бакунин, родившийся в 60-х годах XVIII века, был отправлен на воспитание в Италию, кончил курс в Падуанском университете по философскому факультету. Возвратился в Россию в конце царствования Екатерины II. Поселился окончательно в Премухине в исходе 18-го века.



Вид реки Осуги около Премухина

Он учился в одном из знаменитых в свое время италиянских университетов, служил не долго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в своей деревне, под сень посаженных его собственною рукою кедров. Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности по званию губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. [1]) Он любил все прекрасное, природу, особенно цветы, литературу, музыку и лепет младенца в колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена, [2]) умная и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее.

Откуда, с каких концов России, не стекались к нему посетители! Сюда, вместе с Станкевичем, Боткиным и многими другими даровитыми молодыми людьми (имена их смешались в моей памяти), не мог не попасть и Белинский. [3]) В один из последних тридцатых годов общество молодых людей (в том числе и Белинский), гостивших у моего соседа, в уголку, мною описанном, посетило и меня на берегах Волги. [4]) Говорю об этом случае, потому что он, по

---

1) В 1805—1808 гг.

2) Варвара Александровна Бакунина, рожденная Муравьева.

3) См. прим. в конце статьи.

4) Посещение Белинским Лажечникова в его имении Коноплино, под Старицей, неподалеку от Премухина, относится, очевидно, к июлю 1838 года. На это время падает усвоение Белинским реакционных выводов из философии Гегеля. В этом, чрезвычайно кратком, периоде Белинский находился в состоянии крайней экзальтации.

многим причинам, оставил навсегда в душе моей приятное воспоминание. Это было то время, когда учение Гегеля сильно у нас разгоралось, когда адепты его ходили в каком-то восторженном от него упоении до того, что вербовали в его школу и стариков, и юношей, и девиц. Один из них даже писал к молодой, прекрасной особе, к которой был очень неравнодушен, послание по эстетике Гегеля. Он сам гораздо позже над этим смеялся. Сомневаться в каком нибудь начале учителя было преступлением, тупоумием; на профана смотрели с каким-то сожалением, если не с пренебрежением. Это юношеское увлечение было однако ж не бесполезно; оно много содействовало развитию умственной деятельности молодого поколения. Мог ли Белинский, попав в это общество, оставаться чуждым его разумному движению? Но как он не тверд был в немецком языке, то взялись посвящать его в начала Гегеля молодые гегелисты, в том числе Станкевич, изучивший глубже других знаменитого немецкого философа. За что брался с охотой Белинский, за то принимался он с жаром и всегда с успехом. Так и в настоящем случае. Статьи его сороковых годов, проникнутые философией Гегеля, это свидетельствуют.

«По переезде в Петербург», говорит М. М. П[опов], «Белинский тотчас отыскал меня. Тогдашние петербургские журналисты сами страшно ругались, но проповедывали о приличиях и умеренности. Задетые, едва ли не все, молодым бойцом, они находили особенное удовольствие называть его недоучившимся студентом. Прия-

тель наш, А. Ф. Воейков, в знаменитой своей сатире, угощая тем и другим барона Брамбеуса, сказал, что этот писатель

И Белинского нахальство
Совместил себе в позор.[1])

«В первые пять или шесть лет жизни Белинского в Петербурге он посещал меня довольно часто. Споры у нас случались беспрестанные. Он сам любил поспорить. К знакомым ходил он собственно для того, чтобы отвесть душу в разговорах о литературе. Когда с ним никто не спорил, ему было скучно. Только во время споров он был в своей тарелке, настоящим Белинским, вторым томом своих сочинений. При возражениях, или даже слушая разговоры, не к нему обращенные, но несогласные с его убеждениями, он скоро приходил в состояние кипятка. Сначала говорил своим решительным, как бы рассерженным тоном; чем дальше, тем более горячился, почти выходил из себя, будто дело шло о жизни или смерти! Лицо его подергивалось судорогами... И всегда подвер-

---

1) Приведенные строки принадлежат к вариантам памфлета А. Ф. Воейкова «Дом Сумасшедших». В основном тексте отзыв о Белинском более мягок:

«Вот Сенковский, «сей и оный»,
Гадок, страшен, черен, ряб.
Он—поляк низкопоклонный,
Силы, знати, денег—раб.
Подлость, наглость, самохвальство,
Совместил себе в позор;
Полевого в нем нахальство
И Белинского задор».

(А. Ф. Воейков. «Дом Сумасшедших». Вступ. статья и ист.лит. комментарий И. Розанова и Н. Сидорова. Изд. «Польза». В. Антик и К-о — лучшее издание памфлета).

женный одышке, он тут начинал каждый период всхлипываnием; в жарких же спорах случалось, что одышка или кашель совсем прерывали его разговоры. Собираясь после того с силами, он то вставал и ходил по комнате, то останавливался, скрестив руки на груди и устремив глаза в того, с кем говорил; потом опять разражался громовой речью. Он не был ни шутлив, ни остер в смысле веселости, но был жестококолок и грубо-правдив. Надобно признаться, что в эти минуты он был хорош. Это был факир, или, нет, лучше того: это был жрец своего искусства! Обаятельное влияние его на других было тем сильнее, что в нем не проглядывало ничего искусственного: все было одна натура, душа открытая, сердце, чуждое всякого лукавства».

«Споры литературные, в которых вольному воля, никогда не оканчивались у нас размолвками. Иногда мы расставались, я нахмуренный, он вполне взволнованный; но через месяц, через два опять он звонил у моих дверей, и я опять встречал его как гостя, по котором соскучился».

«Белинский умер в бедности. Во все время литературного поприща он был поденщиком у журналистов. Нужда не дает соков, а высасывает их, и человек горящий—не долго прогорит. В Белинском развилась злейшая чахотка»...

М. В. О[рлова], по выходе своем из А[лександровского] московского института одною из лучших его учениц, украшенная дарами природы и образования, страстно любившая литературу, жила несколько времени у меня в доме в Твери в 1832 году, занимаясь воспитанием

моих племянниц. Она носит имя Белинского и может гордиться им.

Вот все, что я мог, с помощью моего почтенного друга, собрать для биографии Белинского. Не мое дело критически разбирать произведения его, как литератора, критика и публициста; другие сделают это лучше меня и, вероятно, тем скорее, что не замедлится выход полного издания его сочинений. [1]) Если я в этой статье и говорил об его литературных заслугах, то делал это мимоходом, невольно платя им дань от сердца, всегда любившего Белинского,—говорил только то, что служит ореолом его памяти; а другого я не находил что сказать.

Красное-сельцо.
Март 1859 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Иван Иванович Лажечников (1792—1869), автор исторических романов, «Последний Новик» (1833), «Ледяной Дом» (1835), «Басурман» (1838) и др., «русский Вальтер Скотт», как его называли современники, был в конце 1820 года назначен директором училищ Пен-

---

1) Воспоминания Лажечникова были написаны по поводу выхода первого собрания сочинений В. Г. Б — го, в 12-ти томах, изд. К. Т. Солдатникова, под ред. Н. Х. Кетчера, М. 1859—1861 гг.

зенской губернии, а в декабре 1823 г. директором Казанской гимназии. Выйдя в отставку в 1826 г., Лажечников переселился в Москву, где прожил до 1831 года, изредка встречаясь с Белинским и оказав ему помощь при поступлении в Московский университет. В письмах Белинский отзывается о Лажечникове тепло; разбору его романов он посвятил, позднее, несколько сочувственных статей.

Поместив в № 17 «Московского Вестника» за № 1859 «Заметки для биографии Белинского», Лажечников предпослал им вступление, снабженное эпиграфом:

Там одной незаметной могилы,
Где уснули великие силы,
Мне хотелось давно поискать.

«Посвящая несколько страниц памяти одного из самых замечательных деятелей в нашей литературе, я должен оговориться, почему в длинном вступлении статьи я говорю о многом, что попадалось мне в цепи моих воспоминаний, и почти ничего о Белинском. Причина этому следующая: статья эта извлечена из моих памятных записок и в каком виде в них находилась, в таком ее и представляю, исключая дополнения, необходимо требовавшие себе места в ней, когда я ее переписывал, и неминуемые обрезки, которые по многим причинам не могут еще увидеть свет (напр., описание состояния Казанского Университета в 1820—25 г.г.). Я пожалел исключить длинное вступление, потому что оно обрисовывает время, когда ум и сердце Белинского начало тревожить все, что он видел, слышал и читал. Это время было оселком для врожденного критического такта его, развившегося впоследствии так художественно».

В настоящем издании перепечатывается только вторая часть «Заметок», непосредственно касающаяся Белинского. Несколько строк «длинного вступления», рисующие положение пензенской гимназии в 1821 году, не характеризуют состояния преподавания в ней во время учения Белинского (1825—1829 г.г.).

(К стр. 18) Несколько иначе рассказывает об этом эпизоде П. К. Шугаев («Из колыбели замечательных людей», Живописное Обозрение, 1898 г., № 22).

«В 1823 году в Чембар приезжал из Пензы директор училищ Лажечников для ревизии Чембарского уездного училища, которое в то время было только что выстроено. Лажечников во время ревизии открыл журнал и по отметкам увидел самых плохих учеников, которых и вызвал, 5—6 мальчиков, в числе них то был и Виссарион Белинский. Затем он начал их увещевать словами, что родители о них заботятся, поят, кормят, обувают и одевают их, а они не стараются учиться. На эту краткую и поучительную речь, один только юный Виссарион ответил, да так метко, что Лажечников был изумлен находчивостью мальчика, после чего узнал от смотрителя училища, что этот мальчик сын уездного штаб-лекаря Белинского, который находится в стесненных обстоятельствах и одержим слабостью к спиртным напиткам; принимая во внимание все это, можно думать, что Лажечников если и принял участие, то просто из одного лишь сожаления, хотя он в своих воспоминаниях и говорит об этом много и отчасти легендарно, т. е. якобы он предугадал в нем талант и сравнивает его с ястребенком, но вероятнее всего, подобные мысли у него родились и развились впоследствии, когда В. Г. приобрел себе громкую известность».

Следующий далее рассказ Шугаева о содействии Лажечникова поступлению Белинского в Пензенскую гимназию не точен, так как этот эпизод относится к августу 1825 года, т. е. к тому времени, когда Лажечникова уже не было в Пензенской губернии.

(К стр. 22). Михаил Максимович Попов, преподаватель естественной истории Пензенской гимназии, письма которого цитирует далее Лажечников, пользовался наибольшей любовью гимназистов и оказал благотворное влияние на Белинского. Лажечников, в опущенной нами части «Заметок», так характеризует Попова «В скором однако же времени поступило (в Пензенскую гимназию) несколько более образованных и надежных учителей из воспитанников университета. Между ними был один, М. М. Попов, настоящий клад для гимназии. С любовью к науке, особенно к литературе, с светлым умом и основательным образованием, он соединял теплое сердце и душу поэтическую. Я приобрел его дружбу.

Ученики любили его и никого не слушали с таким удовольствием и пользою. Счастлив был Белинский, что попал в его школу, под теплым крылом его он развил в себе любовь к литературе и ко всему прекрасному». С большим сочувствием вспоминает о нем бывший ученик Пензенской гимназии А. Е. Надеждин: «Все, имевшие счастье быть учениками М. М. Попова, питают к нему истинное чувство любви и благодарности, как к учителю и как к человеку; тогда уважали его ученики, увлеченные его прекрасными лекциями, его любовью к науке и его дивным терпением, с каким он совершал чудный переворот в умах и сердцах своих слушателей—теперь его любят и уважают люди, умеющие любить и уважать вполне разумно и вполне сознательно». (А. Надеждин. «По поводу статьи И. И. Лажечникова о Белинском», «С.-Петербургские Ведомости», 1859 г. № 162 от 29 июля. Ср. также сведения о нем в «Ист. очерке Пензенской 1-ой гимназии», стр 43). Белинский поддерживал связь со своим бывшим учителем до конца своей жизни. М. М. Попов был не чужд литературной работе; список напечатанных им статей см. в «Русском Биографическом Словаре».

(К стр. 44). Первые встречи Белинского с Михаилом Бакуниным, ознакомившим его с философией Фихте, а затем Гегеля, относятся к весне 1836 г. В Премухине Белинский гостил с конца августа до середины ноября 1836 г. и в первой половине июля 1838 года. В позднейшем письме к Бакунину Белинский вспоминает: «Я познакомился с тобою в 36 году. Твоя непосредственность не привлекла меня к тебе—она даже решительно не нравилась мне, но меня пленило кипение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине, отчасти и идеальное твое положение к своему семейству,—и ты был для меня явлением интересным и прекрасным. Но задушевного, непосредственного, инстинктуального влечения, повторяю, у меня к тебе не было. Две другие причины завязали еще более нашу дружбу. Тогда я думал, что не личность, не непосредственность человека завязывает узел дружбы: я стремился к высокому, ты также, следовательно, ты мне друг—вот тогдашние (недавно, очень недавно сделались они для меня про-

шедшими) мои понятия о дружбе. Сверх того, имя твоих сестер глухо и таинственно носилось в нашем кружке, как осуществление таинства жизни,—и я, увидав тебя в первый раз, с трепетом и смущением пожал тебе руку, как их брату... Вскоре... ты умчался в Премухино. Прощаясь со мною, ты звал меня к себе: от этого приглашения (как теперь помню) у меня потемнело в глазах, и земля загорелась под ногами. Но я не умел представить себя в этом обществе, в этой святой и таинственной атмосфере; но тем не менее, твое приглашение было доказательством твоей любви и уважения ко мне. Это я умел оценить». (Письмо от 12—24 окт. 1838 года «Письма», т. I, стр. 284—285). Во время первого своего пребывания в Премухине Белинский навлек на себя неудовольствие Бакунина—отца, считавшего Виссариона Григорьевича чуть ли не главным проводником в его семье революционного духа.

Н. А. АРГИЛЛАНДЕР

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

(из моей студенческой с ним жизни)

Виссарион Григорьевич Белинский, воспитанник Пензенской гимназии, по предварительно выдержанному им университетскому испытанию, в 1828 году, вместе со мною поступил на филологический факультет Московского университета казеннокоштным студентом, и я, в числе еще пяти товарищей студентов *), поместился с ним в одном номере университетского казенного здания, где и прожил с ним почти неразлучно три года [1]). Белинский был всегда отличный товарищ и, несмотря на небольшую вспыльчивость его характера, я жил с ним, что называется, душа в душу. В конце 1830 года появилась в Москве холера, сопровождаемая таким паническим страхом, что все присутственные места, театры, собрания позакрывались и чтение уни-

---

*) М. Б. Чистяков, П. С. Нечай, Н. П. Матюшенко, В. С. Саренко.

(Прим. Н. А. Аргилландера).

1) Аргилландер ошибается. Белинский держал испытания и был зачислен в университет годом позднее—в сентябре 1829 г. «На казенный кошт» Белинский был принят в начале 1830 г. Таким образом, они были студентами разных годов приема. Московский университет имел тогда четыре отделения: нравственно-политическое, физико-математическое, врачебное и словесное. Белинский поступил на последнее.

верситетских лекций прекратилось. Все казеннокоштные студенты медицинского факультета, не исключая даже и вновь только что поступивших, в числе 70-ти человек, размещены были по вновь устроенным холерным больницам и, что всего удивительнее, что ни один из этих студентов, несмотря на страшную эпидемию и постоянное обращение с труднобольными и умирающими, не почувствовал даже малейшего признака этой болезни. Мы, от нечего делать, ходили неоднократно с Белинским по этим холерным больницам к студентам-медикам и пили с ними постоянно прямо из бочек чуть ли не ковшами больничное красное вино, что, может быть, нас и предохраняло. Самая неприятная вещь — это было возвращение наше в здание университета, где нас окуривали, какою-то гадостью с омерзительным запахом. Белинский всегда этим страшно возмущался.

Студенты прочих факультетов, как своекоштные, так и казеннокоштные, оставаясь без занятий, устроили, по подписке, в одной из зал университета любительские спектакли, на которых женские роли исполнялись тоже студентами. Оркестр для театра был свой, из своекоштных студентов, под управлением знаменитого в то время своими музыкальными способностями студента Радивилова; он играл на всевозможных инструментах и играл как артист, в особенности же он увлекал публику своею игрой на устроенной им самим так называемой балалайке, на которой струны были без ладов. Все увертюры были собственного его

сочинения, но, странно, он не имел за то никаких способностей к научному образованию и, просидев почти семь лет на скамье университета, выпущен был с чином 12-го класса, по милости профессоров, во внимание только к его замечательному музыкальному таланту. Все необходимое для театра, как то: занавес, декорации и прочие принадлежности, все это сделано было собственноручно студентами. Спектакли были до того хороши и занимательны, что М. С. Щепкин[1]—знаменитость того времени—не пропускал ни одного спектакля и ходил к нам постоянно за кулисы; для московской же интеллигентной публики, несмотря на продолжавшуюся панику, за день до представления не было уже свободного места. Белинский не принимал участия в представлениях, по неимению для того никаких сценических способностей, но был не один раз хорошим суфлером. Нам, казеннокоштным студентам филологического факультета, так называемым словесникам, эти невинные развлечения, как то — заучивание ролей, и самые репетиции, доставляли не мало удовольствия. Мы согласились, сверх того, устроить между собою еженедельные литературные вечера, на которых каждый из нас должен был представить свое какое либо литературное произведение и прочесть его вслух, а затем на этих вечерах начинались учено-литературные диспуты о всех вышедших в то время замеча-

1) Михаил Семенович Щепкин (1788—1863 г.) — знаменитый актер. Блестящим периодом его сценической деятельности считается время с 1825 по 1855 гг. Белинский впоследствии с ним сблизился и, в 1846 г., вместе с ним совершил поездку на юг России.

тельных сочинениях, с должным на них критическим взглядом. [1])

Белинский в этих диспутах мало высказывался, но, обладая огромною памятью и вместе с тем необыкновенною способностью одну и ту же идею развивать или, как мы тогда выражались, мыкать на двух-трех и более страницах, все эти наши взгляды и суждения поместил в своих ранних литературно-критических сочинениях.

На этих наших вечерних собраниях Белинский читал большею частью из своей, тогда задуманной им, как он называл, трагедии «Владимир и Ольга». [2]) Вся основа этой трагедии или, лучше сказать, драмы была та, что, при существовавшем тогда крепостном праве, один из дворовых людей какого-то богатого помещика, случайно как-то получивший университетское образование и при том страстно еще влюбленный в какую-то Ольгу, делается жертвою грубого произвола своего неразвитого барина. Белинский читал все эти сцены с большим увлечением, и всем, по тому времени, весьма резким, монологам мы страшно апплодировали и многие из нас советовали даже, с окончанием этой пиесы, представить ее на рассмотрение цензурного комитета, для того чтоб можно

---

1) Белинский писал об этих вечерах: «Для рассеяния от скуки я и еще человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание. Это общество, кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедию, которая без того едва ли бы когда-нибудь была написана». (Письма, т. I, стр. 25). Влияние споров в кружке на выработку взглядов Белинского автор воспоминаний преувеличивает.

2) Под таким названием была известна в кружке драма Белинского «Дмитрий Калинин» (1831 г.).

было поставить ее на сцену нашего университетского театра. С окончанием этой пьесы и некоторыми сделанными в ней изменениями, при общей нашей помощи, она была переписана, и Белинский самолично представил ее в комитет, состоявший из профессоров университета.[1]) Прошло несколько дней в нетерпеливом ожидании, как вдруг, раз утром,—в это время я был один с ним в номере, и мы занимались чтением какого-то периодического журнала,—его потребовали в заседание комитета, помещавшегося в здании университета. Спустя не более получаса времени вернулся Белинский, бледный как полотно, и бросился на свою кроват лицом вниз; я стал его расспрашивать, что такое случилось, но ничего положительного не мог добиться; он произносил только одно, и то весьма невнятно: «пропал, пропал, каторжная работа, каторжная работа!» [2]).

---

1) Драматические сочинения одобрялись к представлению в то время III Отделением. Таким образом, представляя свою драму в Московский Цензурный Комитет, Белинский имел в виду получить разрешение на печатание пьесы, рассчитывая изданием ее поправить свои материальные обстоятельства, а не поставить ее на сцене.

2) В Цензурном Комитете драма рассматривалась в феврале 1831 г. Белинский рассказывал в письме об этом эпизоде: «Прихожу через неделю в Цензурный Комитет и узнаю, что мое сочинение цензуровал Л. А. Цветаев (заслуженный профессор, статский советник и кавалер). Прошу секретаря, чтобы он выдал мне мою тетрадь; секретарь вместо ответа, подбежал к ректору (И. А. Двигубскому), сидевшему на другом конце стола, и вскричал: «Иван Алексеевич! Вот он г. Белинский». Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензор, в присутствии всех членов в комитете, расхвалил мое сочинение и мои таланты, как нельзя лучше, оно признано было безнравственным, бесчестящим университет, и о нем составили журнал!.. Но после этого дело уничтожено, и ректор сказал мне, что обо мне ежемесячно будут ему подаваться особенные донесения». (Письма, т. I, стр. 31).

Заглянув ему в глаза и увидав почти смертельную бледность лица, я крикнул сторожа, приказал принести воды и, сбрызнув его, дал немного напиться. Когда же он стал успокаиваться, я более его не расспрашивал, догадавшись в чем было дело, и только настоял на том, чтоб он сей же час отправился в клиническое отделение казеннокоштных студентов, помещавшееся на том же университетском дворе, близь анатомического театра, и проводил его туда вместе со сторожем.

Вечером того же дня я был в больнице и узнал от него, что профессора цензурного комитета распекли его таки порядком и грозили, что с лишением прав состояния он будет сослан в Сибирь, а могло случиться еще что нибудь и хуже. Я его успокаивал по мере возможности и доказывал ему, что самое большее, что могли с ним сделать—это послать его, как неокончившего курс казеннокоштного воспитанника, учителем приходского училища или исключить из университета. Мне душевно стало жаль Белинского и сделалось досадно на самого себя, что, говоря откровенно, хотя и не советовал представлять эту трагедию в цензурный комитет, но не мог удержать его от этого, тем более, что он бы меня послушался.

В начале 1831 года холера почти прекратилась, и я стал готовиться к выпускному экзамену и, несмотря на свои усиленные занятия, я все таки постоянно навещал Белинского в больнице, носил ему чай, сахар, табак и, по усиленному его желанию, малую толику очищенной. В знак своей признательности, он выз-

вался написать мне одно рассуждение по кафедре русской словесности, за которое я, вместо ожидаемой отметки—четыре, получил от профессора Давыдова[1]) единицу.*) Рассчитывая, таким образом, окончить курс со степенью кандидата, я выпущен был со степенью действительного студента и вскоре затем, как казеннокоштный воспитанник, послан был в распоряжение Дерптского университета, где и получил место преподавателя русского языка, истории и географии. Перед отъездом моим из Москвы, Белинский оставался еще в больнице, где я и простился с ним по приятельски. Впоследствии, как я узнал, мои предсказания сбылись; но не могу понять только одного, как такой студент, как Белинский, не мог выдержать экзамена на звание приходского учителя и затем, вместе с одним студентом-медиком, действительным идиотом, по освидетельствовании их медицинским профессором Армфельдтом, признан был неспособным к слушанию университетских лекций и исключен из университета.[2]) Бывший когда то моим домашним учителем в Рязани, профессор эстетики и археологии Н. И. Надеждин принял в Белинском большое участие, поместил его у себя на квартире, и Виссарион Григорьевич стал помещать в издаваемых Надеждиным тогда журналах «Телескоп» и «Молва»

1) Какая-то неточность. И. И. Давыдов (1794—1863) начал преподавание русской словесности с 1832—33 г. После смерти Мерзлякова, с середины 1830 г. «правила Российского языка и слога, относящиеся преимущественно к поэзии», преподавал М. Т. Каченовский. (См. С. Шевырев. «История Московского Ун-та», стр. 553).

*) Почему? было плохо, или, может, либерально?
(Прим. Н. А. Аргилландера).

2) См. прим. в конце статьи.

большею частью свои переводные статьи, а иногда свои учено-литературные критические статьи. [1]) Н. И. Надеждин, как издатель, за помещенную им в своем журнале «Телескоп» философскую статью Чаадаева, был сослан на жительство в Вологодскую губернию; Белинский же, как замечательно даровитый сотрудник журнала, был приглашен в Петербург, где за три тысячи рублей годового содержания, стал помещать свои статьи в «Отечественных Записках» [2]).

По приезде в Петербург, Белинский избегал всякой встречи с своими прежними университетскими товарищами, в особенности с бывшими казеннокоштными воспитанниками; он возненавидел их окончательно (?), но со мною он обходился всегда по приятельски. Последняя встреча его со мною была в 1844 году в Павловском вокзале, за буфетом. Он был уже женат, и я, желая его поздравить, предложил ему налитой стакан шампанского; он обругал меня непечатным словом и велел налить две рюмки очищенного; я, зная раздражительный его характер, должен был с ним чокнуться и поцеловаться. С тех пор я уже больше с ним не встречался. [3])

1) С Н. И. Надеждиным (1804—1856), профессором Московского университета в 1832/33 и 1833/34 гг., редактором журнала «Телескоп» и приложения к нему «Молвы», Б — ий познакомился весной 1833 г. С середины марта этого года Б — ий начал работать в «Молве», преимущественно, как переводчик. С Надеждиным Б — ий сблизился и в августе 1834 года поселился у него, а на время отъезда редактора заведывал журналом «Телескоп».

2) «Телескоп» был закрыт в декабре 1836 г. за напечатание «философического письма» П. Я. Чаадаева. Н. И. Надеждин был сослан в Усть-Сысольск под присмотр полиции. В «Отечественных Записках» начавших издаваться под редакцией А. А. Краевского с 1839 г., Белинский стал работать с августа 1839 г., в Петербург переехал в октябре того же года.

3) Эта встреча произошла не раньше 1844 г., так как женитьба Белинского относится к октябрю 1843 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

(К стр. 61). Причины исключения Белинского из университета точно неизвестны. Г. Г. вспоминает: «История Белинского сильно взволновала студентов и долго толковали о ней товарищи; на втором курсе мы с изумлением услыхали, что он исключен из университета за неспособностью; конечно, никто из нас не подозревал в нем знаменитого критика, каким он явился впоследствии, но все же мы почитали его одним из самых умных и даровитых студентов и в исключении его видели вопиющую несправедливость». В подстрочном примечании Г. Г. объясняет в чем заключалась «история Белинского».

«Вот как ее рассказывали тогда: Белинский написал драму и представил ее на рассмотрение университетского совета, который нашел ее безнравственною, потому что в ней слуга убивает своего господина. Это и было началом гонений, воздвигнутых на Белинского, бывшего на беду казенным студентом. После разных притеснений и долгого пребывания в больнице он был исключен из университета за неспособностью к ученью, по распоряжению Д. П. Голохвастова, исправлявшего тогда должность попечителя». (Г. Г. «Университетские Воспоминания», «День», 1863 г., № 42, стр. 7).

Воспоминания Аргиландера были первоначально напечатаны в № 5 «Русской Старины» за 1880 год.

П. ПРОЗОРОВ

БЕЛИНСКИЙ И МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЕГО ВРЕМЯ

(из студенческих воспоминаний)

В 1830 году, при появлении в Москве холеры, прекращено было чтение лекций в университетских аудиториях; казенным студентам воспрещен был выход за ограду университета; предписаны правила гигиены; из казенных студентов медицинского факультета многие размещены по учрежденным тогда временным больницам. Но при паническом страхе и унынии в столице не слишком робели и унывали казенные студенты в своем карантинном заточении, особенно словесники, жившие в 11-м номере, который инспектор студентов прозвал зверинцем.

В этом номере, вместе с другими студентами, жили Белинский и я. Название же зверинца нашему номеру дано было по следующим обстоятельствам: однажды Белинский, М. Б. Ч[истяков] и я сидели на столах, табуреты были под ногами. Разговор шел о каком-то очень интересном предмете. Вдруг неожиданно явился перед нами инспектор. «О чем ораторствуете на своих трибунах?», спросил он. Старший из нас Ч[истяков] отвечал: «О Байроне и о предметах важных». Инспектор после такого ответа сделал оборот и вышел из комнаты, не сказав

ни слова.[1]) В наших спальнях засвечались после ужина лампы, которые и горели везде в продолжении ночи. Мы не любили спать при огне и всегда гасили лампу перед обходом субинспектора. Блюстители порядка сначала приказывали комнатному солдату засвечать погасшую лампу, но узнавши, что мы сами гасим, оставили нас спать в темноте. Одному студенту необходимо было отлучиться во время холеры из университета по весьма важному делу; но так как ему отказано было в просьбе, то мы и положили в общем совете, чтобы он шел без позволения, принимая на себя ответственность за последствия самовольной отлучки. Возвратившийся, разумеется, был посажен в карцер. На нас лежала обязанность освободить от наказания товарища, решившегося нарушить порядок в надежде, что его выручат из беды. Все студенты одиннадцатого номера и некоторые из других номеров, находившиеся с нашим обществом в сношениях, приступили к дежурному субинспектору, чтоб он передал нашу общую просьбу инспектору освободить виновного, или посадить всех нас в карцер. Наша просьба не была уважена. Оскорбленное самолюбие возмутилось. Ч[истяков] и Белинский собрали большую часть студентов в круглую залу и потребовали инспектора. Инспектор, извещенный о волнении студентов, признал за лучшее прийти к нам. Благоразумная умеренность и даже уступчивость не совсем

---

1) Инспектором казенных студентов был в то время математик П. С. Щепкин (1793—1836). Он состоял с 1817 года адъюнктом, а с 1826 г. ординарным профессором Московского университета.

разумному требованию молодых людей смягчили наше раздражение. Опальный студент (И. С. Савинич) был освобожден из карцера. Студенты успокоились.

Второй случай был такого рода: случилось, что некоторые из студентов нашего номера, отлучаясь из университета, опаздывали к обходу спален помощником инспектора, или вовсе не ночевали дома. На случай посещения инспектора, а особенно помощника попечителя, которым тогда был Д. П. Голохвостов,[1]) когда кого нибудь из нас не оказывалось на кровати, мы делали на ней чучелу из халатов и шинелей, которая, будучи прикрыта чехлом, при слабом освещении лампы, или свечки, сопровождавшей обход, была похожа на спящего человека. Когда не успевали сделать чучелы, приглашали более близкого студента из соседней комнаты, который и ложился на кровать отсутствующего, и вслед за выходящим помощником скрывался в свою комнату; когда же не успевал лечь на кровать в собственном номере, то старался попасть обозревателям на глаза, чтобы тем показать, что он не в отсутствии. Такие поздние посещения Голохвостова были всегда неприятны и студентам и инспектору. Особенно оскорбляло нас грубое обхождение Голохвостова со студентами, который при посещении комнат, даже во время студенческих занятий, никогда не снимал с своей головы фуражки, шляпы, и не делал приветствия кланявшимся студентам. Все это до крайности бесило нас, и мы провожали его всегда такими

1) Д. П. Голохвастов состоял помощником попечителя Московского учебного округа с 1831 по 1847 г.

благословениями, которые были очень не по вкусу превосходительного начальника. В этот же холерный год случилось в университете такое происшествие, которое возмутило мир и покой университетских властей и привело в движение бдительные власти столицы. То было волнение казенных студентов, и вот по какому поводу. Студенты не один раз обнаруживали свое неудовольствие на неумеренное усердие эконома к казенным интересам; но это общее выражение неудовольствия оставлено ближайшим начальством без внимания. Видно справедлива пословица «рука руку моет» или другая: «ворон ворону глаза не выклюнет». Студенты, выведенные из терпения экономическими злоупотреблениями, решились не ходить в столовую. О таком заговоре тотчас же дано знать ректору,[1]) который вместе с инспектором, деканом медицинского факультета[2]) и свитой субинспекторов прибыл в студенческие комнаты для исследования случившегося. Большая часть студентов на вопрос ректора, почему они не пошли обедать, отвечали, что дурен стол; оробевших отправили в карцер для внушения прочим страха. Свита прибыла в 11-й №, из которого некоторые ушли обедать в Железный или к Сучку*), другие были на пути идти туда же. Первому, бывшему ближе к дверям, был сделан вопрос,

---

1) Ректором университета был И. А. Двигубский (1771—1839), профессор с 1808 г., преподававший естественно-исторические науки.

2) Вероятно, с В. М. Котельницким, избранным деканом врачебного отделения в 1830 г.

*) Сучком назывался тогда студенческий трактир по имени содержателя и находился на Моховой, против церкви Георгия.

(Прим П. Прозорова).

куда он идет. Тот отвечал, что идет обедать к знакомым. «Отчего же вы не обедали в столовой?» «Оттого, что стол очень дурен», был ответ. «Почему же вы знаете, что стол дурен, если не ходили нынче в столовую?». «Слышал от тех, кто возвратился из столовой». Медицинский декан сказал, на ответ студента, что «не всякому слуху надо верить». Студент возразил, что «не первый нынешний день дурна пища, а уже впродолжении целой недели». Этот ответ лично задел инспектора, который с едкостью спросил: «а чем вас кормили до университета то? Полагаю, вместо говядины варили тряпки во щах?» Студент на такую колкость с живостью отвечал, что «в том заведении, где он учился, стол был очень не дурен». «Так зачем же вы ехали сюда и поступали на казенный счет?» сказал инспектор. «Я ехал в университет, отвечал студент с улыбкой и с тоном иронии, не для одних обедов, а для образования; но так как университет есть высшее учебное заведение в государстве, то я предполагал, что и самое содержание будет соответствовать его значению». «В солдаты его!» отрывисто сказал ректор и обратился к другому студенту, которого счастливая физиономия с первого взгляда располагала в его пользу. И от него был тот же ответ, что «пища не хороша». «У него и лицо то не такое, чтобы не пойти обедать», сказал декан, как бы в защиту упомянутого студента; «эх, братцы, присовокупил он, всякое даяние благо, и всяк дар совершен; я пришел вас защищать», говорил он студентам тихо. «За этот дар мы должны заплатить казне шестью годами службы», возра-

жали студенты. Видя, что все наличные студенты 11-го № твердо отвечают, ректор удалился от нас в круглую залу.[1]) Что касается до декана, защитника студенческого, то без преувеличения можно сказать, что это был преоригинальный старик, о котором можно написать много прекурьезных анекдотов. Для образчика приведу хоть два. Однажды, когда требовалось от преподавателей, по какому руководству они будут читать лекции по своему ли собственному, или другого какого известного автора, он отвечал, что «будет читать по Пленку,[2]) что умнее Пленка то не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное». В другой раз, когда стали при нем хвалить молодого преподавателя, только что возвратившегося из Италии, он пренаивно отвечал: «ну, не хвалите прежде времени, поживет с нами, так поглупеет».[3]) Несмотря на все эти, может быть даже и несколько школьные проделки, умственная деятельность, особенно в 11 номере шла бойко: спор о классицизме и романтизме еще не прекратился тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее решение этого вопроса молодым ученым Н. И. Надеждиным—в его доктор-

---

1) Белинский писал родителям отчаянные письма о «казенном коште»: «пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно есть. Я удивляюсь, каким образом, мы уцелели от холеры, питаясь пакостной падалью, стервятиной и супом с червями. Обращаются с нами как нельзя хуже. Невозможно исчислить всех неудобств казенного кошта». (Письмо от 17 февраля 1831 года. Письма, т. I, стр. 29).

2) Пленк, Иоганн-Якоб (1738—1807) немецкий писатель, автор курсов по многим отделам медицины, мало самостоятельных, но составленных тщательно.

3) Имеется в виду С. П. Шевырев (1806—1864), историк русской словесности, критик и поэт, возвратившийся в половине 1832 г. из Италии, где жил с 1829 г.

ском рассуждении о происхождении и судьбах поэзии романической, который, вскоре после этого замечательного защищения своей диссертации, занял в университете кафедру эстетики в звании ординарного профессора.[1]) И между студентами были свои классики и свои романтики, сильно ратовавшие между собою на словах. Некоторые из старших студентов, слушавшие теорию красноречия и поэзии Мерзлякова[2]) и напитанные его переводами из греческих и римских поэтов, были в восторге от его перевода Тассова Иерусалима и очень неблагосклонно отзывались о Борисе Годунове Пушкина, только что появившемся в печати, с торжеством указывая на глумливые об нем отзывы в Вестнике Европы[3]) Первогодичные студенты, воспитанные в школе Жуковского и Пушкина и незаставшие уже в живых Мерзлякова, мало сочувствовали его переводам, но взамен этого знали наизусть прекрасные песни его и беспрестанно декламировали целые сцены из комедии Грибоедова, которая тогда еще не была напечатана;[4]) Пушкин приводил нас в неописанный восторг.[5]) Между

---

1) Докторская диссертация Н. И. Надеждина вышла на латинском языке в 1830 г. под заглавием: De origine natura et fatis Poëseos quae Romantica audit. Dissertatio historico—critico—elentica Mosquae 1830.

2) Мерзляков, А. Ф. (1778—1830) — критик, переводчик и поэт классической школы. Преподаватель в Московском университете с 1804 г.

3) Н. И. Надеждин, в № 7 «Вестника Европы» за 1830 г., советовал Пушкину «разбайрониться добровольно и добросовестно, сжечь Годунова и докончить Онегина».

4) «Горе от ума» впервые было напечатано в отдельном издании в 1833 г.

5) Любопытный рассказ о посещении Пушкиным Московского университета, и о встрече, оказанной ему студентами, имеется в воспоминаниях Г. Г. («День», 1863 г., № 12, стр. 10).

младшими студентами самым ревностным поборником романтизма был Белинский, который отличался необыкновенной горячностью в спорах, и, казалось, готов был вызвать на битву всех, кто противоречил его убеждениям. Увлекаясь пылкостью, он едко и беспощадно преследовал все пошлое и фальшивое, был жестоким гонителем всего, что отзывалось реторикою и литературным староверством. Доставалось от него иногда не только Ломоносову, но и Державину за реторические стихи и пустозвонные фразы. Вследствие особенной настроенности своего духа, он никак не мог равнодушно слушать бургиевские лекции первого курса.[1]) Не забыть мне одного забавного случая с ним на лекции реторики. Преподаватель ее Победоносцев, в самом азарте объяснения хрий, вдруг остановился, и, обратившись к Белинскому, сказал: «Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь. Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился». «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле», отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. При таком наивном ответе студенты разразились смехом. Преподаватель с гордым презрением отвернулся от неразумного, по его разумению, студента, и продолжал свою лекцию о хриях, инверсах и автониянах, но горько потом пришлось Белинскому за его

---

1) Имя Бургия употреблено здесь, конечно, в нарицательном смысле. В 1776 г. Н. Бантыш-Каменский издал на латинском языке Бургиевы «Начала красноречия». (Ioh. Frider. Burgii Elementa oratoria etc. Edidit Nicolaus Bantisch-Kamensky Typis Imper. Mosq. Univers. 1776).

убийственно едкий ответ[1]). По поводу этого анекдота припоминаются мною некоторые другие черты из жизни тогдашних преподавателей, которые, может быть, объяснят отчасти такое усердие Белинского и других даровитых студентов к посещению профессорских лекций. И вот самый близкий пример. Один из тогдашних преподавателей греческого языка Семен Мартынович Ивашковский, по приходе в аудиторию, имел обыкновение ходить по ней несколько минут[2]). А так как очень немногие из своекоштных студентов занимались греческим языком, то и просили нас, занимающихся этим языком, поговорить о чем-нибудь с прогуливающимся по аудитории профессором, с целью сократить время его занятий. И вот мы, как знатоки греческого языка, имевшие к преподавателю более доступа, чем другие, подходили к нему в числе двоих или троих с вопросами, относившимися к его предмету, и таким образом вступали с ним в продолжительный разговор. Между прочим однажды мы высказали ему трудность успеть по всем преподаваемым предметам. «Да, говорил он, это правда. В наше время бывало, кто знает хорошо по латыни, да как еще по гречески, так тот и кандидат; а нынче чорт знает, что делается; для действительного студента нужно знать хорошо десять предметов». В таких

1) П. В. Победоносцев (1771—1843) преподавал с 1814 г. русскую словесность на первом курсе Московского университета. Читал реторику и главное внимание обращал на практические занятия, на чистоту речи и на строгое соблюдение правил грамматики.

2) С. М. Ивашковский (1774—1850)—профессор греческой словесности Московского университета с 1819 по 1835 г. Лексикограф. Издатель и переводчик классиков.

разговорах проходило с четверть, а иногда и полчаса времени.

Когда разговор истощался, Семен Мартыныч начинал посматривать на часы; это было знаком, что уже время заняться делом, и мы удалялись на свои места, а он—на кафедру. Начинался обычный перевод из достопамятностей Ксенофонта, из разговоров Платона или из Илиады. Когда студенты переводили плохо, наш добряк начинал сердиться, и выведенный из терпения с сильной энергией восклицал на всю аудиторию: «Скверно будет. Нуля — будет вам более не поставлю». Как истолкователь учения Сократа и Платона, он не любил лжи, софизмов и шуток, которыми отличался его собрат, преподаватель латинской стилистики[1]). Однажды собрались наши ученые у Мерзлякова в Сокольниках. Истолкователь Горация и Саллюстия, зная рьяную натуру своего собрата, завел с ним какой-то спор, и всеми мерами старался поддержать ложное мнение. Ревнитель истины рассердился и незаметно скрылся. Проходит часа два, как вдруг увидели Семена Мартыныча в окно, крупно шагающего с фолиантом под мышкою. Вошедши в комнаты, весь в пыли и поте, он с торжествующим видом восклицает, указывая на замеченное место раскрывшегося фолианта: «вот—б у д е т—смотрите! Ведь я говорил, что моя правда». Таков был Семен Мартыныч! Нипочем было ему прошагать десять верст взад и вперед, чтобы принесенным из дома

1) Снегирев, И. М. (1792—1868)—фольклорист, археолог и собиратель древностей. С 1826 г. профессор Московского университета по кафедре латинского языка.

фолиантом опровергнуть ложную мысль, незаконно защищаемую. Преподаватель римской литературы и археологии наделен был от природы каким-то особенным юмором и комизмом; все его приемы и слова заранее были рассчитаны на то, чтобы потешить и посмешить других какою-нибудь неожиданною выходкою или остротою. Он выбирал для переводов со студентами такие места из классиков, которые отличались нескромностью, и любил в присутствии своих слушателей формовать глаголы страдательные, отделяя нарощение от коренных слогов. Произведя между студентами смех, он останавливался, как бы удивляясь неожиданному смеху. Он имел обыкновение крестить свой рот при зевоте. Н. И. Надеждин, заметив такую операцию, спросил его однажды, «для чего он это делает?» Тот простодушно отвечал ему, «чтобы чорт в него не вскочил». «Скажите лучше, чтоб из вас не выскочил», возразил ему Надеждин. Много можно было бы сказать характеристического о прочих преподавателях, но все такие подробности заставили бы меня перейти за пределы предположенной статьи. И так возвратимся в 11-й номер, где случайные сходки и споры студентов приняли серьезный и как бы оффициальный характер. Из студентов составилось литературное общество под названием литературных вечеров, на которых читались собственные сочинения, переводы и высказывались суждения о журнальных статьях и о лекциях преподавателей. Главными учредителями этих вечеров были М. Б. Чистяков, переводивший тогда с немецкого Тео-

рию изящных искусств Бахмана[1]) и посвятивший свой перевод студентам университета*), и В. Г. Белинский, сочинявший собственную драму, в романтическом духе. В нашем обществе не было президента, а только секретарь, которого обязанность состояла в том, чтобы читать во время заседаний приготовленные сочинения. Секретарем был переводчик Бахмановой Эстетики. Несколько вечеров продолжалось чтение драмы, но не секретарем, а самим автором. Наружность его, сколько могу припомнить, была очень истощена. Вместо свежего, живого румянца юности, на лице его был разлит какой-то красноватый колорит; прическа волос на голове торчала хохлом; движения резкие, походка скорая, но за то горячо и полно одушевления было чтение автора, увлекавшее слушателей страстным изложением предмета и либеральными, по тогдашнему, идеями. Но при изяществе изложения, смелости мыслей и глубине чувств, читанная драма была слишком растянута и содержала в себе больше лиризма, чем действия. Очевидно, что драматическое поприще не было истинным призванием Белинского, и эта первая, и если не ошибаюсь, единственная попытка его на этом поприще была лишь плодом молодого увле-

1) Бахман, Карл-Фридрих (1785—1855), философ, в начале своей деятельности последователь Шеллинга и Гегеля, выступивший впоследствии против школы Гегеля. В 1832—1833 гг. вышла в Москве его книга: «Всеобщее начертание теории искусств». Перев. с нем. Михаил Чистяков, 2 части. Борис Михайлович Чистяков (1809—1885)—педагог и детский писатель.

*) До сих пор сохранилась у меня эстетика Бахмана с подписью переводчика, которую он презентовал мне в день пасхи вместо красного яичка. (Прим. П. Прозорова).

МОСКОВСКІЙ

НАБЛЮДАТЕЛЬ,

ЖУРНАЛЪ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ.



ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Часть XVI.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА.
1838.

Титульный лист журнала «Московский Наблюдатель» с марта 1838 г. началось сотрудничество Белинского в этом журнале

чения театром, который любил он до страсти, так увлекательно им выраженной впоследствии в Молве*), и свежего еще влияния Разбойников Шиллера, Коварства и любви, и Шекспирова Отелло, часто игравшихся тогда на сцене[1]). Белинский очень огорчился, когда, по прочтении драмы, сделали ему замечание о недостатках его произведения, хотя он сам через четыре года сознавал, что «растянутость происходит от юности таланта, не умеющего сосредоточивать и сжимать свои порывы**). Но этого сознания тогда еще не было в авторе. По изменившимся чертам лица его и засверкавшим глазам можно было ожидать, что вот он вцепится коршуном в дерзкого, осмелившегося унизить его авторский авторитет перед товарищами, однако ж он сдержал свой порыв, и только по чертам лица можно было прочесть чувство презрения, как будто говорившее: odi vulgus profanum et arceo![2])

Но что ж это была за драма, о которой я так распространился, не назвавши ее по имени. Память изменила бы мне, еслиб я вздумал через 30 лет говорить о ее содержании. Могу сказать

---

*) См. соч. Белинского, т. I, стр. 92—95, 1859 г. (Прим. П. Прозорова).

1) «Дмитрий Калинин» не был ни последней, ни единственной драматической попыткой Б—го. Им была еще написана комедия «Пятидесятилетний дядюшка», поставленная в Москве 27 января 1839 г. в бенефис М. С. Щепкина и напечатанная в «Московском Наблюдателе» (1839 г., ч. II, № 3).

**) Соч. Белинского, ч. I, стр. 193. (Прим. П. Прозорова). В обоих случаях цитируются соч. Б—го, изд. 1859—1861 г.г.

2) П. Прозоров не совсем точно цитирует начальный стих известной оды Горация: «ненавижу и отстраняю непросвещенную чернь». М. Б. Чистяков рассказывал А. Н. Пыпину: «хотя вопрос о трагедии очень волновал Б—го, и он с тревогой начинал ее чтение, но в этом случае он не был так нетерпелив и мирно выслушивал возражения» (Пыпин, «Белинский». Изд. 2-ое, стр. 44).

только то, что слышал я от покойного П. Ф. Попова, бывшего со мною в дружеских отношениях, одноземца Белинскому, а именно: герой читанной драмы был сам автор, и представляемое в ней действие взято из его семейной жизни, и напоминает рассказ Карамзина об острове Борнгольме, из которого тогда в моде была песня «Законы осуждают предмет моей любви» [1]. Постигшая тогда меня горячка от сильной простуды прекратила мое участие в литературных вечерах, и по прекращении холеры начавшиеся лекции и устройство домашнего театра в университете расстроили и совсем наши литературные вечера. Устройством театра усердно занимался тогда инспектор студентов П. С. Щ[епкин]. Костюмы актеров доставлялись из Петровского театра, а на репетициях присутствовал М. С. Щепкин, объясняя студентам характер каждой роли и показывая все сценические приемы в игре, дикцию и жестировку. Искусная игра студентов и необыкновенная игра Радивилова на четырехструнной балалайке привлекали на наши спектакли значительную часть московского общества. Здесь у места заметить, что ни один из студентов словесного отделения не принимал участия в игре на сцене, они, как дилетанты, наслаждались спектаклем не менее самих действующих; Белинский при этом случае решился представить читанную на вечерах драму в цензурный комитет; но она к печатанию не одобрена. После описанного мною случая с Белинским в аудитории, он перестал посещать Бургиевские лекции первого курса и вместо их

1) «Остров Борнгольм»—повесть Н. М. Карамзина (1794 г.).

в эти часы, как и многие из нас, стал посещать лекции Н. И. Надеждина,[1]) который начал свой курс чтением истории изящных искусств. *) Можно ли обвинять молодых людей, жаждавших знания, за нарушение университетского порядка, за естественный порыв, побудивший нас преждевременно устремиться в аудиторию Надеждина послушать вместо мертвых родов красноречия (Demonstratium, deliberativum et judiciale) живую, одушевленную речь даровитого профессора о неслыханном нами индийском трим урти и воплощении кришны, вместо карточной, детской постройки хриек,—об исполинских построениях пагод и пирамид, пантеона и колизея, о страсбургском соборе и куполе Петра, об Аполлоне бельведерском и Лаокооне, и о Мадонне и преображении Рафаеля? [2]). Холерный год можно назвать переходною эпохою в жизни московского университета. Начиная с высших властей до преподавателей, устаревшие для науки уступили

---

1) Неточность: Надеждин начал преподавать в университете лишь с 1832/33 года, когда Б—ий был уже исключен.

*) Очерк истории изящных искусств Надеждина изложен в речи, произнесенной им на акте и напечатанной в ученых записках Моск. университета в первых номерах. (Прим. П. Прозорова).

2) Лекции Надеждина пользовались громадным успехом. Один из его учеников по университету вспоминал. «Самым блестящим преподавателем нашего отделения и едва ли не всего тогдашнего университета был Н. И. Надеждин. Обладая необыкновенным даром слова, он один умел нам дать настоящее понятие об академическом преподавании и постоянно приковывал наше внимание; каждая лекция его была великолепной импровизацией и всегда представляла нечто целое и законченное. Предметом его была эстетика, но вместе с нею он соединял обзор истории философии, и только благодаря ему мы получили некоторое понятие о философских системах и познакомились с именами: Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля (Г. Г. «Университетские воспоминания», «День», 1863 г., № 42, стр, 9).

своё место новым деятелям с современными взглядами и новым направлением. На кафедру Мерзлякова поступил И. И. Давыдов, внесший в русскую словесность, как науку, философские начала, хотя и заменявший профессорский дар слова на кафедре искусною ораторскою декламациею. Место преподавателя всеобщей истории, [1] читавшего свои лекции по Кайданову, [2] занял М. П. Погодин [3]), познакомивший нас с историческими воззрениями Герина, Робертсона, Беттигера [4]). Каченовский, неизменно верный своему скептическому направлению, продолжал очищать исторические материалы, придираясь к мелочам и внушая слушателям подозрение к несомненным фактам и мало заботясь о разъяснении идеи и духа русской истории. [5]) Надеждин принес с собою на кафедру всеобъемлемость Шеллингова воззрения на искусство и свободную живую импровизацию бесед, своим светлым умом и необыкновенным даром слова умел самым отвлеченным гегелевским понятиям сообщить осязаемость, и заставил некоторых из своих слушателей ближе познакомиться с системой тождества и логическо-историческим

1) До Погодина всеобщую историю на словесном отделении читал Ю. П. Ульрихс.

2) И. К. Кайданов (1782—1843)—автор распространенных в конце 20-х и в 30 годах учебников истории, выдержавших многочисленные издания. Уже в момент появления эти учебники не удовлетворяли научным требованиям.

3) М. П. Погодин (1800—1875)—историк и публицист-консерватор. С 1826 состоял профессором всеобщей, а с 1835 русской истории в Московском университете.

4) Герен, Беттигер и Робертсон—авторитетные в 30-х годах, немецкие и английский историки.

5) М. Т. Каченовский (1775—1842) основоположник «скептической школы» русских историков, с 1805 года редактор «Вестника Европы», с 1810 профессор Московского университета.

учением о развитии мирового духа (Weltgeist) Гегеля, обработавшего идеальную сторону природы,*) а в других применить впоследствии развитые им идеи и воззрения на изящные искусства к литературе собственно русской. Редким профессорским даром и приветливым, гуманным обращением Николай Иванович возбуждал в студентах необыкновенный энтузиазм; его обширная аудитория, кроме студентов словесного отделения, наполнялась студентами других факультетов и сторонними слушателями. И под холодом лет не остыл еще этот энтузиазм, и при взгляде на портрет Надеждина, висящий передо мною на стене, оживает в душе моей прекрасная личность его, окруженная ореолом в тот момент жизни профессора, когда он читал лекцию в присутствии товарища министра народного просвещения Уварова и многих прибывших с ним знатных посетителей. Предметом лекции было объяснение идеи безусловной красоты, являющейся под схемою гармонии жизни, о ее осуществлении в боге под образом вечной отчей любви к творению, и проявлении в духе человеческом стремлением к бесконечному, божественным восторгом, а в душе художника образованием идеалов. Студенты, записывавшие лекции, бросили свои перья, чтоб через записыванье не проронить ни одного слова, и только смотрели на профессора, которого глаза горели огнем вдохновения; одуше-

*) Другую сторону природы (Die Naturphilosophie) назначено было развернуть в Германии Окену, у нас в России Велланскому и Павлову. (Прим. П. Прозорова).

вленный голос сопровождался оживленностью физиономии, живостью движений, торжественностью самой позы; даже посторонние посетители, вместо тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекциях других профессоров, невольно обратились к профессору и смотрели на него, как будто на оракула. Уваров, пораженный возвышенностью развиваемого предмета и изящным изложением, спросил Николая Ивановича, «понимают ли его студенты». Профессор отвечал, что «по журналам (запискам) его лекций он утвердительно может сказать, что слушатели вполне понимают его». Сергей Семенович, обращаясь к прибывшим с ним посетителям, тихо и неслышно сказал профессору: «Читает лучше, чем пишет». А писал Надеждин, как это было известно тогда каждому, прекрасно, в смысле стиля, а не почерка, которого нельзя было похвалить. Увлеченный лекциями Надеждина, я убежал на целый год от описываемого мною времени, и потому возвращусь к нему, сказавши еще два—три слова о Шевыреве, который, по возвращении из-за границы, занял вновь учрежденную кафедру истории литературы. [1]) Своими щегольски обработанными лекциями и одушевленными теплым дилетантизмом, развившимся в классической стране искусства (который, впрочем, доходил тогда у него до педантизма и детства), Шевырев познакомил студентов с со-

1) С. П. Шевырев был в 1832 г., вскоре по возвращении из Италии, приглашен Уваровым преподавать русскую словесность в Московском университете. Чтение лекций начал с 1834 года.

держанием и формою поэзии индийцев (Магаборатою, Рамайяною и Сакonталою).

Наступила вакация после холерного года. В первых числах июня я уехал на родину... Целые полгода пространствовал я в Новгородской и Ярославской губерниях, где мне было гораздо и приятнее и веселее, чем слушать другой год лекции приготовительного курса, потому что, по распоряжению университетского начальства, холерный год неположен был в счет курса. В такой продолжительный промежуток времени произошли многие перемены в университете, и, между прочим, все своекоштные студенты, просрочившие после вакации больше месяца, были исключены из университета.

Белинский тоже попал под этот разряд: по возвращении моем в университет, я уже не нашел его между студентами. [1]) Он был исключен из университета ни больше, ни меньше, как за «безуспешность»; и это было сказано в выданном ему аттестате. Во время постигшей его невзгоды, он приютился на квартиру, против сандуновских бань, к землякам своим Ивановым, из которых старший брат служил тогда, помнится, в Сенате, а младший был студентом юридического факультета. [2]) Без всяких средств к существованию Виссарион Григорьевич обратился тогда с просьбой к прибывшему в Москву попечителю Белорусского учебного округа Карташевскому об определении

1) Сведение неверное: лето 1831 г. Б—ий провел в Москве, никуда не уезжал. Опоздал он при возвращении с каникул осенью 1830 г. Исключен был осенью 1832 г.

2) Ивановы были не только земляками, но и родственниками Б—го.

33



Выходитъ при Телескопѣ, по Вторникамъ, Четвергамъ и Суботамъ.

Цѣна въ Москвѣ 45 руб. съ пересылкою 50 руб. ассигнаціями.

МОЛВА

1833. СУБОТА. МАРТА 18.

ЛЕЙПЦИГСКАЯ БИТВА.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СТАРАГО СОЛДАТА.

Я люблю, сидя у камина, вспоминать о Лейпцигской битвѣ! И между тѣмъ небо 16 Октября 1813 года было сырое, мрачное и холодное небо!

Но если бы вы знали, какія прекрасныя сцены тамъ происходили!

Земля была покрыта разбросанными обломками сбитыхъ съ лафетовъ пушекъ, фуръ, пороховыхъ ящиковъ, мертвыми и умирающими, оторванными кровавыми членами, валявшимися около своихъ туловищъ.

Присовокупите къ тому огромные пожары замковъ, загородныхъ домовъ и, что всего горестнѣе, пожары бѣдныхъ хижинъ! Какое другое смятеніе можетъ съ симъ сравниться? Возьмите любое, на примѣръ, смятеніе Сен-Жерменъ д'Оксерруа; одѣньте мыслію и воображеніемъ, какъ можно лучше; украсьте багровыми и лоснящимися скулами Парижской черни, обставьте вытянутыми, испитыми, мѣдноцвѣтными и зеленоватыми фигурами, на коихъ проступаетъ горькая нищета... Все это розы... Но Лейпцигъ!!! — Писатель мелодрамъ сошелъ бы съ ума отъ радости при видѣ сихъ ужасовъ.... Какой источникъ вдохновенія нашелъ бы онъ, если бъ съ самаго жаркаго, но совершенно безопаснаго пункта, развлекаемый только сладостною гармоніею бивуачнаго вертела, могъ созерцать сію грозную драму убійства, опустошенія, кровопролитія!

Теперь будете ли спрашивать, почему я люблю, сидя у камина, вспоминать о Лейпцигской битвѣ?...

И почему тѣ минуты жизни, которыя были

РУССКАЯ БИБЛІОГРАФІЯ.

178. *Руководство къ обученію Повивальному Искусству, съ тридцатью литографированными фигурами. Штабъ-Лекаря и Акушера Вермана. Москва, въ Типографіи Лазоревыхъ Института Восточныхъ Языковъ.* 1832. (8).

Лучше когда нибудь, нежели никогда. Этому правилу преимущественно должны слѣдовать журналисты, коихъ слишкомъ разнообразныя занятія уклоняютъ иногда отъ своевременнаго сообщенія публикѣ извѣстій о всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ полезныхъ сочиненіяхъ. Объявляемое нами теперь принадлежитъ къ числу не только полезныхъ, но даже необходимыхъ, если всмотримся въ семейную жизнь всѣхъ классовъ нашихъ гражданъ. Не говоря объ уѣздныхъ и губернскихъ городахъ, въ которыхъ названіе акушера или акушерки, произнесенное при постели беременной женщины, по большой части производитъ судороги въ больной и ужасъ въ окружающихъ, сколько есть семействъ въ Москвѣ, и притомъ зажиточныхъ, въ коихъ принимаютъ младенцевъ такъ называемыя простыя бабки! У насъ пре-

Первая страница журнала «Молва», приложения к журналу «Телескоп»

с 33 № за 1833 г. началось сотрудничество в этом журнале Белинского переводной статьей «Лейпцигская битва»

его в уездные учители, в которых тогда очень нуждалась Белоруссия. [1]) Попечитель, просмотревши незавидный его аттестат, усомнился исполнить просьбу исключенного студента и предложил ему занять место приходского учителя, на которое Белинский поступить не решился и, чтобы сколько нибудь поправить свои плохие обстоятельства, он принялся переводить роман Поль-де-Кока: «Монфермельская молочница», за который и получил от издателя сто рублей ассигнациями [2]). Несколько раз посещал я переводчика польдекокова романа в квартире Ивановых. В одно из этих посещений я начал ему читать свои созерцания природы, в которых она рассматривалась как откровение творческих идей, как беспредельная пучина зиждительных сил, вырабатывающих из вещества художественные образы, и стройными хороводами небесных сфер возвещающих гармонию вселенной. Не успел я прочесть нескольких страниц, как Белинский судорожно остановил меня. «Не читай, пожалуйста, сказал он, у меня у самого носятся в душе подобные мысли о творчестве природы, которым я не успел еще дать формы, и не хочу, чтобы кто нибудь подумал, что я занял их у других и выдаю за свои». Эти мысли о творчестве высказаны Белинским печатно в литератур-

---

1) Эпизод этот относится к более позднему времени, к апрелю 1833 г.

2) Б—ий закончил перевод «Монфермельской молочницы» популярного у нас в 30-х и 40-х годах французского романиста Поль-де-Кока к середине декабря 1833 г. Книга не могла появиться в печати, так как в это время был заявлен другой перевод романа.

ных мечтаниях, помещенных в Молве.[1]) Кто мог предвидеть, что этот бедный студент, исключенный из университета за безуспешность и неспособность, которому было отказано в скромном месте уездного учителя, через несколько лет сделается первым нашим критиком, двигателем юных поколений по пути прогресса и (в сообществе с Станкевичем) пламенным проповедником гуманических идей в нашей литературе? По рассеянии членов литературного общества в нашем 11-м №, образовался литературный кружок у своекоштного студента Станкевича, который жил тогда у профессора Павлова.[2]) От Ивановых Белинский переселился в квартиру Н. И. Надеждина в доме Самарина, подле Страстного монастыря. И здесь привелось мне быть у Виссариона Григорьевича по особенному случаю. По распоряжению товарища министра народного просвещения Уварова, посещавшего в то время каждый день профессорские лекции, назначено было, в числе прочих, и мне говорить с профессорской кафедры лекцию. Предметом лекции я выбрал развитие идей о творческой силе в искусстве или о гении. Николай Иванович, выслушав наши приготовительные чтения и приготовясь к ответам на могущие встретиться со стороны Уварова возражения, обратился ко мне и сказал: «я вполне надеюсь на вас». Обрадованный словами любимого профессора, я прямо устремился в комнату Белин-

1) «Литературные мечтания» начали печататься в «Мо́лве» с середины сентября 1834 г.

2) М. Г. Павлов (ум. в 1848 г.)—профессор физики, минералогии и сельского хозяйства Московского университета с 1820 по 1840 г.

ского передать ему о будущих наших чтениях. Виссарион Григорьевич, заваленный книгами и французскими журналами, доканчивал тогда свои литературные мечтания. Кто только посещал лекции Надеждина, не хотел верить, что эти мечтания писаны Белинским, а не Надеждиным. Так они были проникнуты духом самого редактора Телескопа и Молвы. Составляя записки полного курса Эстетики Надеждина*) и будучи членом литературного студенческого общества, я могу хорошо отличить что в этих мечтаниях принадлежит Надеждину и что Белинскому. Из своекоштных студентов занимался составлением лекций Надеждина Н. В. Станкевич, которому я сообщил в пособие записки эстетики профессора московской духовной академии Доброхотова, о котором упоминается в автобиографии Надеждина. [1]) Тоже можно сказать и о некоторых других статьях Белинского. Во время посещений Виссарионом Григорьевичем прежних своих товарищей, живших уже не в 11-м №, а в круглой зале, я слышал от него, что литературные мечтания доставили ему выгодные уроки, и что он уже по недостатку времени отказывался от предлагаемых вновь. Сочувствуя вполне восторженному удивлению молодого поколения к плодотворной деятельности Белинского, я обязан сказать однако, что он в первые годы своей литератур-

*) Идеи, развиваемые Надеждиным на лекциях, напечатаны в нескольких статьях в «Телескопе» об эстетическом образовании; в очерке истории эстетики, в энциклопедическом лексиконе—о вкусе в школе живописи об изображении Авидонны в живописи. (Прим. П. Прозорова).

1) П. И. Доброхотов (ум. в 1832 г.)—профессор общей словесности Московской духовной академии.

ТЕЛЕСКОПЪ

ЖУРНАЛЪ

СОВРЕМЕННАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

НИКОЛАЕМЪ НАДЕЖДИНЫМЪ.

ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Che chi ha i duo occhi, il veda!

ALFIERI.



МОСКВА

ВЪ ТИПОГРАФІИ Н. СТЕПАНОВА.

1833

Титульный лист журнала «Телескоп»
с 14-ой части журнала за 1833 г. началось сотрудничество в нем Белинского

ной деятельности был только сознательным органом выражения идей Надеждина. Как редактор журнала, Николай Иванович, найдя в Белинском человека, одаренного эстетическим пониманием, вполне способного развивать его мысли и излагать их в изящной форме, сообщил молодому таланту философско-художественное направление для последующей независимой деятельности. Когда талант Белинского созрел под благотворным влиянием Надеждина, он пошел далее своего учителя в приложении к литературе, как это и должно быть по закону прогресса, тем более, что деятельность Надеждина приняла более обширные размеры, чем одна изящная литература. В последний раз посетил я Белинского пред отъездом моим из Москвы на службу в университетском ректорском доме, куда переехал Н. И. Надеждин. На прощанье подарил он мне на память Шиллерова Дон Карлоса в переводе Лихонина и номера Телескопа, в которых был помещен Другой из тринадцати Бальзака. Первый же из тринадцати достался мне из числа тех номеров, которые получались по билету, подаренному казенным студентам словесного факультета самим редактором Телескопа. [1]) С Николаем Ивановичем Надеждиным в последний раз я виделся 12 января, в день праздника основания университета. По окончании торжества, выходя из залы собрания и встретясь со мною, он

---

1) В №№ 9—12 журнала «Телескоп» за 1833 г. был напечатан отрывок из романа Бальзака «История тринадцати» под заглавием «Один из тринадцати». Второй отрывок из того же романа «Другой из тринадцати» был напечатан в №№ 45—50 за 1834 г.

сказал мне: «вы еще не уехали?» я отвечал ему, что «сейчас отправляюсь в путь, только хотелось мне побывать здесь на празднике». Николай Иванович, взявши меня за руку, сошел вместе со мною по лестницам на двор, и, садясь в сани, на прощанье пожелал мне на новом поприще жизни всех возможных успехов и поручил мне кланяться от него будущему моему начальнику, с которым он служил в прежние годы вместе. Через двадцать лет жизни в провинции судьба привела меня опять провесть 12 января в университете при праздновании столетнего юбилея; но не встретился я там ни с незабвенным своим наставником, которому некогда под сводами акционного зала, раздавались громкие рукоплескания публики и студентов после произнесения им речи, ни с прежним товарищем, которого имя сделалось так дорого всем, кто любит русскую литературу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания Прозорова были напечатаны в 12-ой книжке «Библиотеки для чтения» за 1859 г. В вступительных строках, непосредственно предшествующих воспроизведенному в настоящем издании тексту, Прозоров пишет:

«Имя Белинского, как писателя, заняло в настоящее время одно из тех высоко-почетных мест, что каждый случай из его жизни, каждое слово об нем стало дорого для публики. В настоящее время, когда издаются его сочинения, рассеянные до сего времени в разных жур-

налах, когда они с такой жадностью читаются новым поколением и с таким глубоким наслаждением перечитываются его современниками, нам особенно было бы приятно встретить в издании и самую биографию автора. Но для этого в настоящую минуту нет у нас никаких материалов, а потому всякий, кого только судьба сталкивала в жизни с этим замечательным литературным и общественным деятелем, обязан, по моему мнению, напечатать все, что известно ему о нем. Товарищ В. Г. Белинского по университету и даже живший с ним в одном номере в течение, правда, недолгого пребывания его в университете, я постараюсь сообщить в возможной связи все, что осталось в моем воспоминании об этой эпохе нашей университетской жизни».

К. Д. КАВЕЛИН

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. БЕЛИНСКОМ

Я познакомился с Белинским впервые зимою 1834 года, когда готовился вступить в московский университет. [1]) Белинский был рекомендован моему отцу князем Александром Александровичем Черкасским (отцом известного кн. Вл. Ал. Черкасского), с которым он был дружен. [2])

Белинский явился к нам в качестве учителя русского языка и словесности, истории и географии. Живо помню первый урок — о логическом строении предложения. Затем воспоминания мои о Белинском до лета 1835 года довольно смутны. Помню, что он заставлял меня много переводить с немецкого. В одном переводе отрывка из путешествия Гумбольдта по Южной Америке (напечатанного в хрестоматии) я перевел слово Krater словом «кратер» и получил за это замечание, из которого, однако, понял, что мой учи-

1) К. Д. Кавелин записал свои воспоминания о Белинв 1874 г. по просьбе А. Н. Пыпина, использовавшего их в своем труде о Белинском. В полном виде эти воспоминания были опубликованы в 3-м томе собрания сочинений Кавелина, издания 1899 г., откуда они и перепечатываются.

2) Кн. Влад. Алексеевич Черкасский (1824—1878)—государственный и общественный деятель, член-эксперт комиссии для составления положения о крестьянах (1858—1861). Был близок к славянофилам и деятельно участвовал в журнале «Русская Беседа».

тель не знал, что это слово значит. Когда я объяснил его значение, слово «кратер» было заменено словом «жерло». Для истории было куплено, по указанию Белинского, руководство Пёлица, в русском переводе. [1]) Помню также, что Белинский не всегда аккуратно приходил на уроки, что он как-то раз приходил поздравить отца с праздником (Рождеством или Пасхой), и что на одном уроке, когда мы были вдвоем, он мне по секрету объявил, что де Екатерина II вовсе не была такая великая и безупречная женщина, как об ней рассказывают. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Мне хоть и было за 16 лет (я род. 1818, ноября 4-го), но наивности, неразвитости и детства был колоссальных. Вообще же Белинский ко мне благоволил, и мне он нравился, хотя я не подозревал в нем ничего особенного, да к счастью и родители видели в нем не более, как учителя, низкого происхождения, который и не мог не быть более или менее чудаком, с дурными манерами.

Более мы сблизились с ним летом 1835 года. Родители мои уехали в деревню и оставили меня в Москве готовиться к экзамену, который должен был начаться в конце августа. Уезжая, отец просил всех учителей, в особенности Белинского, принять к сердцу мои успехи. В это время я оставался совершенно один, знакомых у меня почти не было, и тут уже ничто не мешало нам разговаривать о чем угодно. Я Белинскому, видимо, полюбился. Месяца полтора

---

1) Пелиц, Карл-Генрих (1772—1838)—немецкий историк и публицист.



К. Д. Кавелин

он ходил очень аккуратно, но потом стал опять пропадать неделями. Учил он меня плохо. Задавал по книжке, выслушивал рассеянно, без дополнений и пояснений и, наконец, предоставил меня собственной судьбе, говоря, что я юноша умный и с учебником справлюсь сам.[1]) Но, насколько он был плохой педагог, мало знающий предмет, которому учил, настолько он благотворно действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов, уважения и любви к знанию и нравственным принципам. Мы занимались с ним больше разговорами, в которых не было ничего педагогического в школьном смысле, и я только по счастливой случайности не провалился на экзамене; но эти разговоры оставили во мне гораздо больше, чем детальное и аккуратное знание учебника и руководства. Чтобы понять и оценить это, надо вспомнить время и среду, в которых я жил. Страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, тоскливый и рабский биготизм, самодержавный и крепостной status quo, как естественная норма жизни, дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь, наполненная мало искренними родственными отношениями, сплетнями и пошлостями дворянского кружка, погруженного в микроскопические ежедневные дрязги, придворные слухи, допотопное хозяйство, светские этикеты и туалеты. Для юноши эта среда

---

1) Н. И. Надеждин, уезжая 8 июня 1835 г. за границу, поручил редактирование «Телескопа» и «Молвы» Белинскому. Спешной редакционной работой объясняется, вероятно, его неаккуратность в занятиях с Кавелиным.

была заразой, и те, которые в ней не опошлели и из нее выбрались, были обязаны, подобно мне, тем струйкам света, которые контрабандой врывались, чрез Белинского и ему подобных, в эту тину и болото. До сих пор тоскливо становится, когда вспомнишь об этой обстановке, неспособной вызвать даже на большое преступление.

Расстались мы с Белинским очень дружески, т. е. насколько могла быть дружба между умным человеком, который полюбил неразвитого парня за то, что из него могло потом выйти порядочного, и парнем, который больше инстинктом, чем головой, ценил умного человека, полюбил его и привязался к нему.

В чем собственно состояли наши разговоры, этого я решительно не помню. Удержалось у меня только в памяти, что Белинский издевался над греческим языком, которому учил меня К. А. Коссович (теперь проф. университета, а тогда студент на выпуске), и над греческими красотами, которыми я тогда восхищался.[1]) Вообще, отрицательное отношение ко всей окружающей меня действительности, социальной, религиозной и политической, благодаря Белинскому, во мне засело, хоть в очень наивной, неопределенной и мечтательной форме. Белинский подействовал на меня не как политический агитатор, а как мыслящий человек. Оба мы тогда мало знали, и потому от наших разговоров ничего не могло во мне остаться, кроме неопределенных стре-

1) Каэтан Андреевич Коссович (1815—1883)—выдающийся санскритолог, с 1865 г. профессор С.-Петербургского университета.

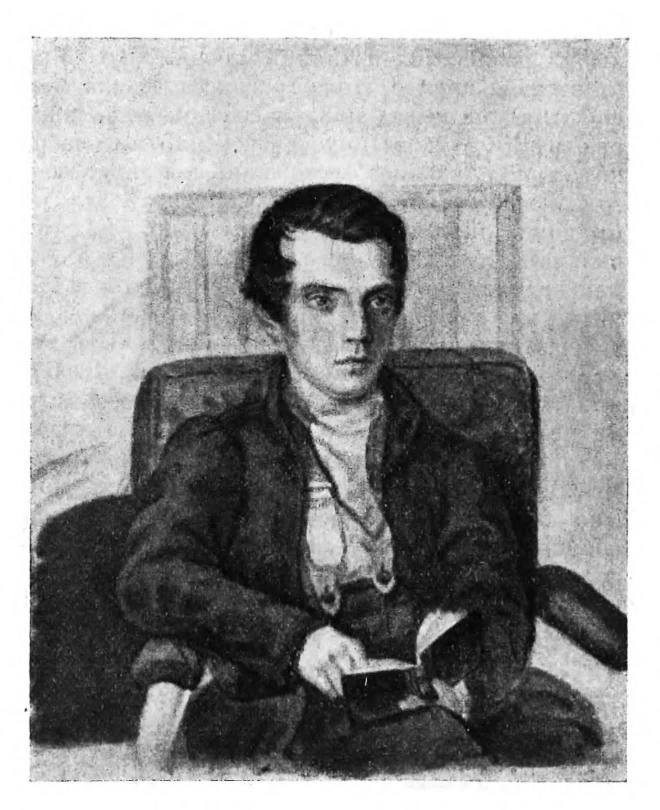
млений. Они были и прежде во мне, но теперь, благодаря Белинскому, путь их был намечен.

После вступления в университет я с Белинским встречался очень редко, а затем он уехал в Петербург. В университете я со всем увлечением, к какому только был способен, отдался влиянию немецкой науки, которая с 1835 года стала талантливо преподаваться целым кружком талантливых и свежих молодых профессоров. Они по убеждению, а может быть и не без некоторого расчета, относились свысока, иронически, к доморощенным деятелям, к пробам русского ума и ко всему французскому, которое тогда царило в русских, сколько-нибудь развитых головах. Отдавшись беззаветно обаятельному влиянию профессоров, я не имел охоты искать других сближений. Со второго курса, кроме того, я сблизился, чрез Елагиных, Киреевского и Валуева, [1]) с славянофильским кружком, тоже не особенно расположенным к Белинскому. Но самое главное — мне с ним негде было встречаться; Грановского, Герцена тогда еще не было в Москве; с Боткиным[2]) и Кетчером [3]) я не был знаком. В то время, когда я познакомился с Елагиными, Кетчер у них уже не бывал. Так и случилось, что с Белинским мы видались очень редко и случайно. Встречи эти я помню очень живо, хотя и не могу восстановить их хронологии. Одна, описанная с дипло-

1) Речь идет о писателе-славянофиле Дмитрии Александровиче Валуеве (1820—1845).

2) Василий Петрович Боткин (1811—1869), писатель, близкий друг Белинского, Станкевича, Грановского, автор «Писем об Испании» (1847).

3) Николай Христофорович Кетчер (1809—1886) — врач, поэт, переводчик Шекспира. Друг Белинского и Герцена.



В. Г. Белинский в возрасте 27—28 лет

матическою точностью Панаевым, была на Арбатской улице.[1] Я бросился его обнимать и целовать, но он меня оттолкнул, потому что не любил ребяческих излияний любви. Другой раз (помнится, прежде этого трагического для меня события) он зазвал меня к себе обедать, пожирал жареную говядину и особенно мне ее рекомендовал, как необыкновенно полезную вещь для людей, ведущих сидячую жизнь. В это посещение, он, как мне теперь ясно, был под сильным влиянием гегельянских идей, в том направлении, которое привело его потом к «Бородинской годовщине. *)

Последнее наше свидание (а может быть второе, — память мне изменяет) было у В. П. Боткина, которого я тогда совсем не знал. Смотря на меня как на «юношу, подававшего надежды», Белинский хотел ввести в круг порядочных мыслящих людей и вследствие того назначил мне быть у В. П. Боткина вечером, в день сборища (повидимому, для них был отведен один день в неделю). Вечер этот я помню очень смутно. Помню Боткина в цветной шапочке на голове, помню Каткова [2]) в студенческом мундире

---

1) См. «Литературные воспоминания» Ив. Ив. Панаева, изд. «Academia», стр. 304—305.

*) В это посещение Белинский указывал мне карту Европы, объяснил, что рядом с протестентской культурой наукой, искусством в Берлине, возникает другой центр католической культуры, философии, искусства в Мюнхене. Он как будто считал их равноправными. Таким путем дошел он и до «поэзии покорности».

(Прим. К. Д. Кавелина).

Имеется в виду период «примирения с разумной действительностью». Об этом см. ниже, стр. 153—154.

2) М. Н. Катков (1818—1885) в конце 30-х годов был близок с Станкевичем и Белинским, впоследствии стал известен, как реакционный публицист, редактор «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей».

(я сам был студентом, чуть ли не первого курса). [1]) Было довольно народу, но я никого не знал. О чем-то много спорили. Затем подали ужин à la fourchette, и все, в том числе и Белинский, устремились на еду с необыкновенной жадностью, которая меня несколько удивила. Я был тогда совершенный мальчик по развитию, и потому-то весь этот вечер, со своими спорами и лицами, так бесследно испарился из моей памяти...

Затем действительное и серьезное мое сближение с Белинским произошло уже в Петербурге, куда я переехал весною 1842 года. Тогда я уже был магистрантом и написал большую часть своей диссертации на магистра. По приезде в Питер отыскал Белинского, который принял меня очень дружески, читал мне отрывки из писем Станкевича и был в очень либеральном настроении духа. Но после того, я опять долго его не видал и начал встречаться очень часто только когда переехал жить с Тютчевым и Кульчицким в доме Жербина, на Михайловской площади. [2]) Тютчев был тогда полу-немецким буршем, кончившим курс в Дерпте, и служил в министерстве финансов в департаменте разных податей и сборов. Кульчицкий, кандидат харьковского университета, служил в канцелярии

---

1) Кавелин ошибается: описываемая встреча не могла произойти раньше середины 1836 г., когда началась дружба Белинского с В. П. Боткиным.

2) Николай Николаевич Тютчев (1815—1878) был членом кружка Белинского и другом И. С. Тургенева, имением которого управлял в 1852—53 гг. во время высылки Тургенева в с. Спасское. Печатал переводы в «Отечественных Записках».

Александр Яковлевич Кульчицкий (1815—1845)—друг Белинского. В «Отечеств. Записках» печатались его стихи, рассказы и очерки (под псевдонимом Говорилина).

военного министерства. Как они познакомились с Белинским — я не знаю, но оба ему очень нравились, и к ним он ходил зачастую по выходе книжки «Отеч. Зап.». С обыкновенным своим младенческим добродушием и доверчивостью, Белинский всучил им в сожители некоего Милановского, воспитанника московского университета. Милановский, напоминавший лицом Каткова, подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплоататором чужих карманов. Он надул пастора Зедергольма, [1]) издававшего свой курс истории философии на русском языке, бессовестно употребил во зло добросердечие Н. Н. Тютчева и т. д. Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры с скандалом. Словом, этот барин оказался невозможным сожителем Тютчева и Кульчицкого и был изгнан, а на его место и в его комнату поступил я.

Месяцев 11, которые я провел тут, были из счастливейших в моей жизни, и этим счастьем я обязан кружку, в который попал, и в особенности главе этого кружка, Белинскому. Он имел на меня и на всех нас чарующее действие. Это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния, таланта,—нет, это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас ясным пониманием стремлений и потребно-

---

1) Зедергольм, Карл Альбертович (1789—1867); в 1841—42 г.г. вышла его «История древней философии, приспособленная к понятию каждого образованного человека», 2 ч., Москва.

стей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими свою жизнь. Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всякую безупречность, беспощадность к самому себе при большом самолюбии, и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно. Мы понимали, что он в своих суждениях часто бывал неправ, увлекался страстью далеко за пределы истины; мы знали, что сведения его (кроме русской литературы и ее истории) были не очень-то густы; мы видели, что Б. часто поступал, как ребенок, как ребенок капризничал, малодушествовал и увлекался, и между собою подтрунивали над ним. Но все это исчезало перед подавляющим авторитетом великого таланта, страстной благороднейшей гражданской мысли и чистой личности без пятна,—личности, которой нельзя было подкупить ничем,—даже ловкой игрой на струне самолюбия. Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали, но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно подальше. Беда, если она попадала на глаза Белинскому: он ее выворачивал тотчас же на показ всем и неумолимо, язвительно преследовал несчастного дни и недели, не келейно, а соборне, пред всем кружком, на каждом шагу. Известно, что и себя он тоже не щадил. Панаеву не мало доставалось за его суетливость, мне за «прекраснодушие» и за славянофильские наклонности, которые в то время

были очень сильны. Влияние Белинского на мое нравственное и умственное воспитание за этот период моей жизни было неизмеримо, и оно никогда не изгладится из моей памяти. Я его боготворил, благоговел перед ним. Его влияние поставило много честных и честно думающих людей на Руси. Многие, побывавши под сильным его влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению.

Я упомянул о кружке. Он в то время состоял из следующих лиц: Панаева, женатого, у которого мы иногда собирались. Это был самый богатый и самый фешенебельный член кружка. Мих. Алек. Языков—остряк, хромой и забавный господин, смешивший нас своими шутками и комическими выходками;[1]) Ив. Ильич Маслов, прозванный Тургеневым прекрасной нумидянкой. Маслов служил секретарем коменданта Петропавловской крепости ген. Скобелева, был у него другом дома и сообщал вести и рассказы о том, что говорилось и делалось в крепости. При Николае Павловиче это было и интересно, и очень небесполезно знать. И. С. Тургенев (за несколько лет до «Хорь и Калинича»). Белинский тогда очень благоволил к Тургеневу и восхищался до небес его «Парашей» — грехом юности, который не попал в собрание его сочинений,—за несколько стихов отрицательного и демонического свойства (Белинский особенно восторгался стихом, где говорится о хохоте са-

1) М. А. Языков (ум. в 1885 г.), друг Белинского. Вместе с Д. Толстым и Г. Есиповым издал в 1836 г. «Сочинения кн. Антиоха Кантемира».

таны, и даже, помнится, привел этот стих в одной из своих критических статей). [1]) Некрасов к нам не ходил тогда, а бывал у Белинского. Я помню, что раз днем я застал их вдвоем: они играли в карты. Затем, кроме нас троих, не было никого. Краевский был тогда большой литературный и журнальный барин и с нами обращался немножко свысока и у нас не бывал. Остается еще назвать В. П. Боткина, который водился с нами во время проезда из Москвы за границу и своей комической свадьбы, в которой все мы принимали участие в качестве свидетелей и друзей. [2]) Наконец, проездом же из-за границы в Москву был у меня и у Белинского Катков, но не на приятельской ноге. Белинский говорил о нем, что он—пузырь, надутый самолюбием и готовый ежеминутно лопнуть.

Как мы проводили время и что происходило в нашем капельном кружке, это легко представит себе всякий, кто знаком хоть по наслышке с молодыми литературными кружками 30-х и 40-х годов. Аристократическим изяществом людей с достатком все мы, кроме Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократические салоны и литературные тузы были нам известны только по имени. Но весело нам было очень, насколько можно было веселиться при отвратительной тогдашней обстановке сверху и кругом.

---

1) См. строфы XIX—XXII стихотворного рассказа Тургенева, появившегося в свет весной 1843 г. На этих строфах остановился Б—ий в своем сочувственном разборе поэмы—«Библиографическая хроника. Параша. Рассказ в стихах Т. Л.»

2) Об этом эпизоде см. Герцена «Былое и думы». Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. XII, стр. 234—241.

Каждый литературный кружок, в том числе и наш, был тогда похож на секту, в которую новые члены принимались трудно, по испытании и рекомендации. Мы мечтали о лучшем будущем, не формулируя положительно, каким оно должно быть, жадно собирали все анекдоты, слухи и рассказы, из которых прямо или косвенно следовало (или должно было следовать), что апокалипсический зверь не долго провоеводствует, также жадно и зорко следили за всяким проявлением в слове или печати мыслей и стремлений, которыми были преисполнены. Каждый месяц приносил нам новинку — статью, а иногда и больше, Белинского, которую читали и перечитывали. Жорж-Занд и французская литература были нашим евангелием. За событиями политическими в Европе мы следили внимательно, но нельзя сказать, чтоб с большим толком и настоящим пониманием.

Взаимные отношения членов кружка были самые дружеские, тесные, интимные. Камертон им давал Белинский. Шуткам и остроумиям, часто очень не остроумным, не было конца. Запевалой почти всегда был Белинский, особенно усердно и любовно глумившийся надо мной (Тютчева он уважал). Кульчицкому тоже доставалось; его обзывали «гадюкой». Я получил от Белинского постоянное название «молодой глуздырь» (встречается в Новг. былинах). Споры и серьезные разговоры не велись методически, а всегда перемежались и смешивались с остротами и шутками.

Все это очень известно и обыкновенно в наших русских дружеских кружках, и по складу

нашего ума не может быть иначе. Отмечу некоторые особенности нашего тогдашнего кружка, обусловленные родом жизни и вкусами Белинского. Он работал, как истинно русский человек—запоем, и когда мог отдыхать, т. е. когда необходимость не заставляла его работать, охотно ленился, болтал и играл в карты, ради препровождения времени. Игроком он никогда не был. С половины месяца, или так между 15 и 20 числами, Белинский исчезал для друзей—запирался и писал для журнала. Ходить к нему в это время было неделикатно. Белинский болтал охотно, но проведенное в разговорах время приходилось ему наверстывать ночью, потому что работа была срочная, к выходу книжки 1-го числа. с выходом книжки Белинский становился свободным и приходил почти каждый день к нам, иногда к обеду, но всего чаще тотчас после обеда—играть в карты. Кроме нас, он хаживал вечерами на пульку к Вержбицкому, кажется, военному и женатому, о котором мы не имели понятия. П. В. Анненков говорил мне, что там Белинского обыгрывали наверное. [1]) Источники этого рассказа мне совершенно неизвестны; также я не знаю, где, как и почему Белинский познакомился и сошелся с Вержбицким. Так как друзья Белинского знали, что он почти каждый вечер проводит у нас, то приходили к нам, и, таким образом, квартира наша мало по малу обратилась в клуб. Каждый вечер кто нибудь из друзей забегал хоть на минуту по-

---

1) Павел Васильевич Анненков (1812—1887)—писатель, друг Тургенева. Известен, главным образом, как редактор сочинений А. С. Пушкина и мемуарист.

видаться с Белинским, сообщить новость, переговорить о деле. Как только приходил Белинский после обеда—тотчас же начиналась игра в карты, копеечная, но которая занимала и волновала его до смешного. Заигрывались мы зачастую до бела дня. Тютчев играл спокойно и с переменным счастьем; я вечно проигрывал; Кульчицкому счастье валило всегда чертовское, и он играл отлично. Белинский плел лапти, горячился, ремизился страшно, и редко оканчивал вечер без проигрыша. На этих-то карточных вечерах, увековеченных для кружка брошюркой Кульчицкого: «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс», изданной под псевдонимом кандидата Ремизова, происходили те сцены великого комизма, которые часто приводили в негодование Тютчева, забавляли друзей, а меня приводили в глубокое умиление и еще больше привязывали к Белинскому. [1]) Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оканчивалась рублем, двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? Садился он играть с большим увлечением, и если ему везло, был доволен и весел. Раз зацепившись и поставя ремиз, он старался отыграться, с азартом объявлял отчаянные игры и ставил ремиз за ремизом. Кульчицкому, как нарочно, в это время валили отборнейшие карты. Поставя несколько ремизов, Белинский стано-

1) Брошюра Кульчицкого, изданная в С.-Петербурге, в 1843 г. под псевдонимом П. Ремизова, полностью воспроизведена Н. О. Лернером в статье «Эпизод из жизни Белинского», «Русская Старина», 1908, IV.

вился мрачным, пыхтел, наконец, жаловался на судьбу, которая его во всем преследует, а наконец, с отчаянием бросал карты и уходил в темную комнату. Мы продолжали игру, как будто ни в чем не бывало. Кульчицкий нарочно ремизился отчаянно, и мы шумно выражали свою радость, что, наконец-то, и «гадюка» попалась. После двух-трех таких умышленных ремизов и криков соседняя дверь тихонько приотворялась, и Белинский выглядывал оттуда на игру с сияющим лицом. Еще два-три ремиза— и он выходил из темной комнаты, с азартом садился за игру и она продолжалась вчетвером по-прежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали в замечательных людях и еще сильнее к ним привязывали. Та же черта была и в Герцене, с которым Белинский имел всего более родства по натуре. Они во многом напоминали друг друга. Я дорожу этой чертой, как очень характеристической в Белинском, и потому так подробно описываю случаи, повидимому, совершенно ничтожные.

В эпоху, которую описываю, талант, нравственная физиономия и образ мыслей Белинского сложились окончательно и достигли своего апогея. Никаких колебаний и шатаний из стороны в сторону не было. Его симпатии клонились к стороне Франции, а не Германии или Англии. Его идеалы были нравственно-социальные более, чем политические. Политической программы ни у кого в тогдашних кружках не было. К тогдашнему нашему statu quo Белинский относился отрицательно на всех путях и ненавидел панславизм во всех его направлениях и со всеми

его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы — пережитое прошедшее, которое и привело к печальному настоящему. Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подчас ребячески, с чудовищными преувеличениями, но в которых всегда лежала верная, светлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Раз как-то в споре Белинский с яростью объявил, что черногорцев надо вырезать всех до последнего. Другой раз, по поводу какой-то книги, романа или стихов, где поминались русские шлемы, латы, доспехи, он напечатал коротенькую рецензию, в которой говорил, что ничего этого никто не видал, а все знают лапти, мочалы, рогожи и палки. Враги Белинского пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно и отчасти по тупоте не хотели или не умели понять того, что он говорил или хотел сказать. После положительная сторона его ненавистей и отрицания выступила яснее. Говорят, что за границей он страшно тосковал и стремился назад. [1]) В Москве, в одном разговоре с Грановским, при котором я присутствовал, Белинский даже выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа. Но Белинский ясно понимал, что тогдашнее положение наше, с ног до головы, не нормальное, что правительство идет само не зная куда, и когда-нибудь расшибет себе башку об стену. Здесь будет кстати сказать, что Белинский не любил поляков

1) Ср. ниже такое же утверждение И. С. Тургенева в «Воспоминаниях о Белинском», стр. 250.

и с необыкновенным своим чутьем, далеко опережавшим время, прозревал в них узких провинциалов. Ему особенно не нравилось в поляках то, что они считают Варшаву наравне с Парижем, Мицкевича—наравне с Гете, что послушать их,—их политики, поэты, художники, философы за пояс заткнут европейские светила. Эта черта, т. е. провинциальность, недавно подмеченная и разоблаченная Драгомановым [1]) у галичан и разных западных славян, не ускользнула от зоркого глаза Белинского в поляках. Белинский вменял русским в особенное достоинство, что они трезвы умом, не таращатся, относятся к себе отрицательно и что им нечего охранять. Петра Великого он боготворил. «Пишите скорей его историю, говаривал Белинский, пройдет сто лет и никто не поверит, что Петр не миф, а историческая действительность».

Из периода времени, который описываю, сохранилась в моей памяти еще одна черта Белинского, которую не могу пройти мимо. К концу моего пребывания в Петербурге до московской профессуры сюда приехал Рубини, с которого началась здешняя итальянская опера. Наш кружок бросился с жадностью на эту новинку. Раз как-то давалась Лучия де-Ламермур. Мы были в ложе: Панаевы, Тютчев, Белинский и я (других не помню). В известной патетической сцене горького упрека героя оперы своей возлюбленной Белинский был глубоко потрясен, насилу сдержал слезы и назвал Рубини—великим актером. Объективной цены этот отзыв не имеет

1) М. П. Драгоманов (1841—1895)—историк, фольклорист и публицист-конституционалист.

никакой, но он характеризует и Белинского, и время. [1]) Наше полное музыкальное невежество объясняет, каким образом ничтожная пьеса могла так глубоко подействовать на Белинского и вызвать то горькое чувство, которое лежало в душе каждого в то время. Оно объясняет и огромный успех Лермонтова и Некрасова,—гораздо больше, чем их действительные поэтические достоинства.

Наконец, в 1843 году я оставил Петербург почти с таким же сожалением, с каким оставлял Москву, чтобы переехать в Петербург. К кружку, к Белинскому я привязался всей душой. Связи с ним после того никогда не прерывались. С Белинским они еще укрепились дружбой с Герценом, Грановским, Кетчером, Е. Коршем и другими членами московского кружка, которого Белинский был членом. [2]) Каждый раз, что Белинский приезжал в Москву, мы с ним виделись очень часто на дружеской ноге.*)

---

1) Эпизод этот относится к 28 или 30 апреля 1843 г. Вот собственный отзыв Б—го: «Слушал я третьего дня Рубини (в «Лючии Ламермур») — страшный художник — в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольцо с Лючии и призывает небо в свидетели ее вероломства—страшна, ужасна—я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос—столько чувства, такая огненная лава чувства—да от этого можно с ума сойти! (Письмо В. П. Боткину, 30 апреля 1843 г., «Письма», т. III, стр. 365).

Джованни Батиста Рубини (1795—1854) — популярный итальянский певец-тенор.

2) Е. Ф. Корш (1810—1897)—журналист. В 1858—59 гг. издавал журнал «Атеней».

*) Я забыл сказать, что, напутствуя меня на дорогу в Москву, Белинский сказал: «ну, молодой глуздырь, вот вам мой завет в Москве: когда встретитесь с Шевыревым, обходите его за версту. Заметьте: в тот день, как с ним встретитесь, вы сильно поглупеете».

(Прим. К. Д. Кавелина).

Отношения Белинского с С. П. Шевыревым обострились со времени появления в 1836 г. статьи Б—го «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя» (кри-

Вскоре, т. е. несколько лет после переезда моего в Москву, затеян был Белинским альманах, под названием «Левиафан». Все друзья должны были дать что-нибудь. Я изготовил для него статью: «Взгляд на юридический быт древней России», доставившую мне известность и почетное имя. Но между тем возникла мысль основать новый журнал в Петербурге. Говорилось, что это будет журнал Белинского, что он основывается для него, чтобы вырвать его из когтей эксплоататора Краевского. [1]) Белинский попал на удочку с всегдашней своей младенческой доверчивостью. Что Панаев стал редактором «Современника», — это было еще понятно. Он дал деньги. Но каким образом Некрасов, тогда мало известный и не имевший ни гроша, сделался тоже редактором, а Белинский, из-за которого мы были готовы оставить «Отечественные Записки», оказался наемщиком на жалова́ньи,—этого фокуса мы не могли понять, негодовали и подозревали Некрасова в литературном кулачестве и гостинnодворчестве, кото-

тический отдел в этом журнале вел Шевырев). Впоследствии, в 1842 г., Б—ий выступил против своего литературного противника с памфлетом «Педант. Литературный тип». Шевырев был так взбешен, что собирался обратиться с доносом на Б—го в III отделение.

1) С начала 1846 г. Б—ий, тяготившийся условиями работы в «Отечественных Записках» Краевского, начал помышлять об оставлении этого журнала, с 1-го апреля он уже окончательно порвал с Краевским и стал собирать материал для сборника «Левиафан», доход от которого должен был дать ему средства к существованию. Мысль об издании своего журнала возникла у Панаева и Некрасова летом 1846 г., т.-е. уже после ухода Белинского из «Отеч. Записок». Деньги на издание «Современника» дал не только И. И. Панаев, но и Некрасов (ему ссудил их А. И. Герцен). Белинский предполагал стать дольщиком журнала, но его пригласили только как сотрудника, правда, на хороших условиях. Это вызвало его неудовольствие и нарекания на Некрасова со стороны московских друзей Белинского.

рые потом так блистательно им доказаны. Статьи, предназначенные для «Левиафана», вошли в «Современник». Барышнические рекламы этого журнала нам очень не нравились. Стали доходить до нас дурные слухи. Белинский похвалил «Деревню» Григоровича; Некрасов выразил ему неудовольствие за то, что он похвалил в его, Некрасова, журнале повесть, о которой он, Некрасов, отзывался дурно. Все это сильно нас огорчало. Мне не было никакой охоты сближаться с новой редакцией и порвать связи с Краевским, к чему нас очень подзадоривали. Разницы в редакции не было в сущности никакой. Посреди всего этого я получил очень дружеское письмо от Белинского, который с нежностью упрекал меня за то, что я ничего не даю в новый журнал, предназначенный для выражения мнений и стремлений нашего кружка. «Вы, москвичи,—говорилось в этом письме,—много обещаете, а дойдет до дела, ленитесь. Болтать вы здоровы», и все в этом тоне. Любя Белинского безмерно, я не стерпел и высказал ему все, что у меня было на душе; я написал, что поддерживать его журнал был бы рад с радостью, но не журнал Некрасова, что лавочнический тон новой редакции мне не нравится и что это те же «Отечественные Записки» в другой обложке и проч. В ответ на это получил огромное письмо Белинского, листах на четырех, в котором он ругал меня на все корки, как только он один умел ругаться (это письмо я сжег гораздо после, во время неистовств правительства против литературы в 1848 г.). Смысл ругательств был тот, что я мальчишка, прекрасно-

СОВРЕМЕННИКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ съ 1847 года И. ПАНАЕВЫМЪ и Н. НЕКРАСОВЫМЪ подъ редакцiею
А. НИКИТЕНКО

ТОМЪ I

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФIИ ЭДУАРДА ПРАЦА

1847

Титульный лист «Современнику»
с 1-ой книжки 1847 г. журнал перешел под новую редакцию.
С этого же времени началось сотрудничество в нем Белинского

душествующий москвич, дрянной мечтатель и т. д. В конце, однако, Белинский прибавил, что ругней облегчил себе душу и что только тогда и бывает доволен, когда во время писанья его бьет лихорадка. Смысл ругательств Белинского я понял вполне, и, конечно, ни одну минуту не был на них в претензии. В них Белинский заглушал то, что чувствовал сам. Справедливость того, что я ему писал,—вот что приводило его в ярость, но сознаться в этом ему было тяжело. Поняв в чем дело, я решился молчать и не расстраивать его больше. Через несколько времени получаю от него другое письмо, нежное, кроткое, дружеское, с вопросом, отчего я молчу, неужели рассердился. Затем в конце, о моих сомнениях относительно его отношений к «Современнику» и к Некрасову, Белинский, как будто нехотя, прибавлял, что я прав. Это признание было мне очень дорого лично; оно, к несчастию, подтверждало то, что мы уже обстоятельно знали чрез В. П. Боткина, ездившего в Петербург.

Заношу в эту беспорядочную летопись еще следующий факт: не помню, в письме или в разговоре, Белинский отзывался об «Антоне Горемыке» Григоровича, который произвел огромное впечатление,—что чтение этой повести произвело на него такое же действие, как будто его самого отодрали кнутом.[1])

В промежуток времени, что я был в Москве (1843—1848 в начале) Белинский женился, ездил

1) Об отношении Белинского к повестям Григоровича «Деревня» и «Антон Горемыка» см, Воспоминания П, В, Анненкова, стр. 444,

с М. С. Щепкиным в Крым, ездил за границу. Отправился он с Тургеневым, которому, однако, скоро надоело возиться с больным, и он его бросил, оставя на руках П. В. Анненкова, который был тогда за границей, нарочно с ним съехался и очень дружески за ним ухаживал. На возвратном пути из-за границы, Белинский ехал на пароходе с каким-то флигель-адъютантом и с обычной своей горячностью и младенческим простодушием разразился в проклятиях на счет действий правительства. Рассказывали, что этот разговор, переданный кому следует, обратил внимание III-го Отделения на Белинского. Так ли это, не знаю. Вероятно, что переписка его с Гоголем, ходившая по рукам, и следствие о русской литературе, произведенное генералом Бутурлиным и М. А. Корфом, поднявшее из архивной пыли бесконечные доносы на литературу, в том числе графа С. Г. Строганова, заставили Вия открыть свой глаз на угасавшего Белинского. [1]) Угасал он очень кстати. Попов, старший чиновник III-го Отделения, бывший его учитель в пензенской гимназии, любивший его и заходивший к нему изредка, переменил к этому времени свой тон с ним. Белинского требовали в III-е Отделение, куда он не мог явиться по болезни. Вскоре он умер. После его

1) В конце февраля 1848 г., вследствие доноса гр. С. Г. Строганова и бар. М. А. Корфа на либеральную журналистику, был образован особый комитет под председательством кн. А. С. Меньшикова для ревизии цензуры, 2-го апреля на смену меньшиковскому комитету возник новый, так называемый Бутурлинский, в составе: Д. П. Бутурлина, М. А. Корфа, П. И. Дегая, просуществовавший восемь лет и ознаменовавший собою эпоху цензурного террора. См. об этом М. К. Лемке. «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX стол.». Спб. 1904, стр. 183—308.

смерти, когда разыгралось дело Петрашевского, и ключ к литературе сороковых годов был подобран в III-м Отделении, Л. В. Дубельт яростно сожалел, что Белинский умер, прибавляя: «мы бы его сгноили в крепости».

В 1848 году, подав в отставку из университета, я, в промежуток времени между концом лекций и началом экзаменов, поехал в Петербург искать места по учебной части в университете, лицее, или училище правоведения. Тогда я навестил и умиравшего Белинского, который жил на Лиговке, в доме Галченковых. Он был очень плох. Помню, мы сидели с ним под открытым небом в садике или на дворе. Он едва говорил, задыхался. Из тогдашнего разговора помню, что он подтрунивал над вооружением Петропавловской крепости. Это, говорит, из боязни, чтобы я ее не взял. О В. П. Боткине он отзывался так: Боткин съездил в Европу и познакомился с ней, как скиф; заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей. Боткин действительно возвратился в мое время из-за границы смакующим буржуем, падким до тонких наслаждений и закрытым наглухо для социальных стремлений того времени. Он был мало симпатичен.

Вскоре после возвращения моего в Москву, Белинский умер. Понимал ли он, что близок к кончине, этого я из разговора с ним не мог заметить. О смерти его мне рассказывали, что он был в забытьи, бредил, говорил речи народу, как будто оправдывался, доказывая, что любил народ, желал ему добра. Кончина Белинского, которая в другое время произвела бы сильное



Маска Белинского

впечатление, прошла почти незамеченной, посреди европейских волнений и безумств тогдашнего правительства, потерявшего голову от страха. Таких сатурналий мракобесия, каких мы были тогда свидетелями, едва ли скоро увидят наши потомки.

Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок. Наружность его доказывала, что его воспитание и жизнь прошли вдали от светских кружков. Значительна была его голова и в ней особенно глаза. Несмотря на весьма некрасивые плоские волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лоб бросался в глаза. Глаза большие, серые, страшно-проницательные, загорались и блестели при малейшем оживлении. В них страстная натура Белинского выражалась с особенною яркостью. Характеристично было в его лице, что конец носа был приподнят с одной стороны и имел впадину с другой. Верхняя губа с одной стороны была слегка приподнята. То и другое можно видеть на его маске. Спокойным он почти никогда не бывал. В спокойные минуты глаза его были полузакрыты, губы слегка двигались. Очень некрасивы были выдававшиеся скулы. Ходил он большими шагами, слегка опускаясь, как бы приседая при каждом шаге. Сморкался и кашлял он чрезвычайно громко и неизящно. Вечно бывал он нервно возбужден или в полной нервной атонии и расслаблении. Детей он очень любил. Нежно был он привязан к своей дочери, из которой вышла, говорят, очень пустая девушка. Жена его, бывшая классная дама в одном из москов-

ских институтов и сестра ее, жившая с нею и по выходе ее замуж за Белинского,—женщины очень посредственные, чтобы не сказать больше. Жена, говорят, мало давала ему счастья и только во время болезни ходила за ним. Лично я их мало знал, и обстоятельства женитьбы Белинского мне совершенно неизвестны.

Для полноты моих воспоминаний о Белинском я должен еще прибавить то, что о нем слышал, и отзывы о нем друзей.

Обстоятельства встречи Белинского с каким-то франтом у Панаева и его самобичевание перед ним за «Бородинскую годовщину» очень известны, и останавливаться на этом нечего.

Мне рассказывали, что еще в Москве, Белинский, будучи учителем, давал уроки у Мих. Мих. Бакунина, сенатора, вероятно его двум дочерям Авдотье Михайловне и Прасковье Михайловне. По какому-то случаю у Мих. Мих. был обед, к которому учтивый хозяин дома пригласил и Белинского, пришедшего его поздравить перед обедом. Гости были разные московские сановные старички. Зашел разговор о французской революции, о казни Людовика XVI. Гости отзывались об этих событиях с ужасом и омерзением. Белинский, читавший в это время историю революции и приходивший в такой восторг, что катался по полу, — молчал глубоко. Хозяин, из учтивости, счел нужным втянуть в разговор Белинского и имел несчастие спросить его, как он думает об этих событиях. Тогда, будто бы, Белинский встал и, задыхаясь от страсти и ярости, торжественно вскричал:—я бы на месте их (т. е. вождей революции) трижды казнил

Людовика»! Эффект этой фразы на старичков был, будто бы, потрясающий. Сходный с этим анекдотом рассказывает И. С. Тургенев, перенося его в Петербург, в салон кн. В. Ф. Одоевского. Белинский, будто бы, сказал громко, при гостях, что наши непорядки исправит мать пресвятая гильотина. Мне кажется, что к обоим рассказам следует относиться очень критически. Что-нибудь лежащее в основании их, вероятно, было; но едва ли чудовищные размеры сказанного не выросли в устах рассказчиков.[1])

Герцен передавал мне, что в каком-то разговоре, коснувшемся любимой Белинским женщины, последний пришел в такую ярость, что схватился за нож. Что это такое было — я не знаю. Записываю для соображения будущих биографов Белинского.

Герцен высоко ценил ум Белинского, говоря, что у него совершенно русская, светлая голова, удивительно последовательная, бьющая до конца. В пример он приводил, что Белинский не знал по-немецки и, только из отрывочных разговоров друзей познакомившись с системой Гегеля, тотчас же сообразил в чем дело и суть его, и сам, без чьей-либо помощи, вывел все последствия из гегельянской философии, которые выведены из нее позднее либеральной и радикальной фракцией гегелевых последователей.

Между Белинским и Грановским была великая дружба, но я думаю, что непосредственной симпатии между ними не было, да и не могло быть. Это были две натуры совершенно противопо-

---

1) См. аналогичный рассказ А. И. Герцена, стр. 151.

ложные. Грановский—натура в высшей степени художественная, гармоническая, нежная, сосредоточенная. Мысль всегда представлялась ему в художественном образе и в нем он передавал свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которой он прятался, а свойство его природы. Всякая резкость была ему неприятна, всякая односторонность его шокировала. Многие считали его за это дипломатом, чуть чуть не двоедушным и хитрым и вместе с тем слабым, бесхарактерным. Но такие суждения не шли в глубь этой натуры, удивительно изящной и резко отличавшей его от диковатой русской и в особенности московской среды. Представьте же себе рядом с Грановским Белинского, страстного, нервного, вечно переходившего из одной крайности в другую, необузданного и мало образованного. Он не мог не смущать иногда Грановского своими выходками; точно также как и сам, вероятно, не раз бесился и выходил из себя от гармонической, сосредоточенной умеренности и идеальности Грановского; к тому же он был плохой философ, плохой диалектик и часто был побиваем в отвлеченных спорах, даже когда был прав. О Белинском Грановский говорил всегда с большим уважением, с большою любовью, но прибавлял, что он страшно увлекается и впадает в крайности. Если б эти натуры не сплочали в теснейший союз внешние обстоятельства, благородство общих стремлений, личная безукоризненность и сумасшедший гнет мысли, науки и литературы сверху, Белинский и Грановский наверно бы разошлись, как Грановский впоследствии разошелся с Герценом.

Остается сказать, что для Белинского, вовсе не знавшего по-немецки и с трудом читавшего французские книги*), друзья: Боткин, Станкевич и, кажется, Панаев делали извлечения из иностранных книг и даже, говорят, переводили целые книги, может быть статьи и брошюры. Я знаю об этом из рассказов. Говорили также, что Станкевич, сохранивший на Белинского до конца огромное влияние, сдерживал его в крайностях и увлечениях письмами из Берлина, с дружеской правдивостью говорил ему жесткие истины на счет его незнания и непонимания философии. Когда я жил в Петербурге, Белинский мне говорил, что философия молодому уму не дается, а дается зрелому возрасту. «Теперь я, прибавлял он, только созрел достаточно для занятия философией». Этот отзыв, быть может, был отголоском писем Станкевича, особливо когда Белинский убедился, что его советы и упреки оказались совершенно справедливыми.

Вот и все. К сказанному я не могу прибавить ни одной черты из того, что у меня удержалось теперь в памяти. Образ его я ношу в своей голове и в своем сердце, как святыню.

С.-Петербург
6-го февраля 1874 г.

---

*) Переводя «Отец Горио» Бальзака (или другой роман, не помню), Белинский перевел слова: «les vaisseaux se sont cassés» корабли сломались, когда речь шла об артериях. Над этим очень смеялись, и приводили эту ошибку, как доказательство его невежества.

(Прим. К. Д. Кавелина).

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

... Одно воспоминание влечет за собой другое. Говоря о Соколовском, я упомянул, что весь 1837 год я провел на Кавказе: лето на водах, а осень и зиму в Ставрополе.[1] Этот год был замечателен разными встречами. Начнем с Белинского и Лермонтова.

Ив. Ив. Панаев в своих «Литературных Воспоминаниях» говорит, что Белинский и Лермонтов познакомились в Петербурге у г. Краевского в то время когда Белинский принимал деятельное участие в издании Отеч[ественных] Записок, т. е. в 1839 или 1840 году.[2] Это не справедливо. Они познакомились в 1837 году в Пятигорске у меня. Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не

1) Николай Михайлович Сатин (1814—1873) — поэт, друг А. И. Герцена и Н. П. Огарева, был одновременно с ними осужден по делу о студенческой пирушке, на которой исполнялась юмористическая песня В. И. Соколовского о смерти Александра I. Н. М. Сатин был сослан первоначально в Симбирскую губернию, но в 1837 г. по болезни был переведен на Кавказ. В 40-х годах он жил за границей вместе с Н. П. Огаревым. Отрывки его воспоминаний напечатаны в сборнике «Почин» Общества любителей российской словесности за 1895 г.

2) «Литературные воспоминания», изд. «Academia» стр. 220—222.

раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не раскусил Лермонтова.

Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движения от ревматических болей в ногах. Туда же и тогда же приехал Белинский и Лермонтов, первый из Москвы лечиться, второй из Нижегородского полка повеселиться.[1])

С Белинским я не был знаком прежде, но он привез мне из Москвы письмо от нашего общего приятеля К.[2]), на этом основании мы скоро сблизились, и Белинский навещал меня ежедневно.

С Лермонтовым мы встретились, как старые товарищи. Мы были с ним вместе в Московском университетском пансионе, но в 1831 году, после преобразования пансиона в Дворянский институт (когда-нибудь поговорим и об этом замечательном факте) и введения в него розог, вместе и оставили его. Лермонтов тотчас же вступил в Московский университет и прямо наткнулся на историю профессора Малова, вследствие которой был исключен из университета, и поступил в юнкерскую школу. Я поступил в университет только на следующий год.

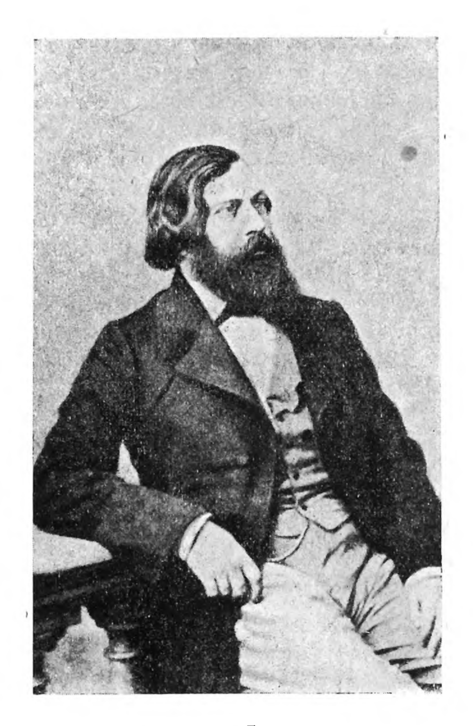
На пороге школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге. Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать: «пристанет, так не отстанет», говорили об нем.

Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его и к последней трагической дуэли!

---

1) Б—ий приехал в Пятигорск в середине июня 1837 г., пробыл там до 19 августа.

2) Н. Х. Кетчера.



Н. М. Сатин

В 1837 году мы встретились уже молодыми людьми, и, разумеется, школьные неудовольствия были взаимно забыты.

Я сказал, что был серьезно болен и почти недвижим; Лермонтов напротив — пользовался всем здоровьем и вел светскую рассеянную жизнь. Он был знаком со всем **водяным** обществом (тогда очень многочисленным), участвовал на всех обедах, пикниках и праздниках.

Такая, повидимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром; он писал тогда свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера.

Майер был доктором при штабе генерала Вельяминова. Это был замечательно умный и образованный человек; тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова.

Лермонтов снял с него портрет поразительно верный, но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent».

Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеивался над своими любвями и волокитствами.

В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело

шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба уроженцы города Чембар (Пензенской губернии.)

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистовав, он с удивлением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьозному разбудил юмор Лермонтова. На серьозные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками.

— Да, я вот что скажу вам о вашем Вольтере, — сказал он в заключение: если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел, молча, на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это не доучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.

Белинский, с своей стороны, иначе не называл Лермонтова, как пошляком, и когда я ему напомнил стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина»,—он отвечал: «Вот важность, написал несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком!»

На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов.»

Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга.[1])

---

1) И. Панаев рассказывает об отношениях Б—го с Лермонтовым в первое время по возобновлении их знакомства в 1839 г.: «Б—ий пробовал не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Б—й приходил в смущение. — Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Б—ий, — было бы довольно странно; но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет пустотою» (Панаев, стр. 220). Несколькими месяцами позже, в 1840 г., когда Лермонтов сидел на гауптвахте за дуэль с Барантом, Б—ий посетил его и разговорился с ним. Этот разговор произвел на Б—го сильное впечатление: «Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и поэтическая душа в нем!» (Панаев, стр. 221).

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «все действительное разумно», была иначе высказанное начало достаточной причины и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от бога». Но если все власти от бога, и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции—чистая тавтология но тавтология или нет, она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки,—этого-то и хотели берлинские буддисты. Как такое воззрение ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегелианцы.

Белинский, — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедывал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение, вместо борьбы. Он

веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные; в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения,— сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский, и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.[1])

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами... Размолвка наша действовала на других; круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, заговорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».[2])

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин, хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в сла-

---

1) Вероятнее, что Б—ий прочел «Бородинскую годовщину» В. А. Жуковского, стихотворение, которое могло иллюстрировать его образ мыслей, и по поводу которого он писал в это время статью.

2) Неточность: последней статьей, выражавшей взгляды Б—го периода «примирения с разумной действительностью», была статья «Менцель, критик Гете», появившаяся в январской книжке «Отечественных Записок» за 1840 г.



А. И. Герцен

бости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

. . . .

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда.[1]) Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна; он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец, он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я, мы не были большие дипломаты; впродолжении ничтожного разговора я помянул статью о бородинской годовщине. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: «Ну, слава богу, договорились же! а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла: три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого[2]); там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» спросил его на ухо офицер. — «Да».—«Нет, покорно благодарю»,—сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть,—

---

1) См. примечание в конце статьи.
2) Вероятно, у И. И. Панаева, см. выше, стр. 125.

я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: вы благородный человек, я вас уважаю... Чего же вам больше?»

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное; plus royalistes que le roi,[1]) они с мужеством несчастия старались отстаиват свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести; другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля со Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие—точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. «Москвитянин»[2]) в некоторых статьях дал торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию.

---

1) Более роялисты, чем король.

2) Журнал, издававшийся с 1814 по 1856, под редакцией М. Погодина.

Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой как пережившего 1825 г. в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева [1]), является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой нибудь вопрос. Ему достаточен стих: «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и «Гамлете»? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не анти-критикой, так доносом! Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие задушев-

1) «Философическое письмо», в «Телескопе» 1836.

ные мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в «Отечественных Записках», а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием «Европеец»; эти названия всего лучше доказывают, что в начале были только оттенки, а не мнения, не партии.

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные Записки»; тяжелый нумер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» «Есть»,— и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как ни бывало.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: «Когда же к нам? у меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».

Я в другой книге[1]) говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов о нем самом.

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень

---

1) «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».

многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. К.[1]) уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому, Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился, было, бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме.

Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и А. Мейендорф,[2]) статские советники из образованных, Иакинф Бичурин[3]) из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А. К.[4]) домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им так, как Людовик-Филипп в начале своего царствования, снисходя к своим избирателям, приглашал на балы в Тюльери целые rez-de-chaussée[5]) подтяжечных мастеров, москательных лавочников, башмачников и других почтенных граждан.

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским послан-

1) Вероятно, Кетчер.
2) Александр Казимирович, писатель.
3) Синолог.
4) Андрей Александрович Краевский.
5) Нижний этаж.

ником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III Отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

Раз в субботу, накануне нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comité, [1]) когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему; он как-то забился в угол и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил,—красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

Милый Белинский! как его долго сердили и расстраивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом, не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой. [2])

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это был сильный боец! Он не умел проповеды-

---

1) В тесном кружке.

2) Ср. аналогичный рассказ в «Воспоминаниях о Б—ом» И. И. Панаева (стр. 485—489).

вать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла. Бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнью, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещащие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей.

Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам; лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем,

дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его, и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам...

Раз приходит он обедать к одному литератору на Страстной неделе; подают постные блюда. «Давно ли,—спрашивает он, вы сделались так богомольны?» — «Мы едим, — отвечает литератор,—постное просто на просто для людей.»—«Для людей?—спросил Белинский и побледнел. Для людей!?»—повторил он и бросил свое место. «Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей!»

В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедывал какую-то чушь honnête et moderée. [1]) Белинский лежал в углу на

---

1) Честную и умеренную.

кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

«Слышал ли ты, что этот изверг врет? у меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много; будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь,—ну, утешь.»

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс, я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом «Письме» Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами: «Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.»

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно?

— Совсем нет,—отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты гнусный, презрительный гнусны и презрительны, относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении

разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал: «Вот они высказались — инквизиторы, цензора на веревочке мысль водит...» и пошел, и пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями. «Что за обидчивость такая?.. палками бьют,—не обижаемся, в Сибирь посылают,—не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь,—не смей говорить; речь—дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?»

— В образованных странах,—сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос. Он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно

в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И. Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому делается страшно, провесть раз десять языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово.

Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому.

— Несмотря на вашу нетерпимость, — сказал он, наконец, — я уверен, что вы согласитесь с одним...

— Нет,—отвечал Белинский,—что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!

Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр схватил шляпу и уехал. [1])

... Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 г.; он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия, и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых; он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

---

1) О подобном эпизоде упоминает К. Д. Кавелин, см. выше, стр. 125—126.

ПРИМЕЧАНИЯ

В приведенных в настоящем издании страницах из «Былого и Дум» (часть IV, гл. 25) А. И. Герцен останавливается на увлечении Белинского разумной действительностью, на времени полного примирения его с жестокой действительностью николаевского режима. Это увлечение началось с конца 1837 г., когда М. Бакунин, «просмотрев философию религии и права Гегеля», посвятил Белинского в «новый мир». Позднее, 29 сент.— 8 окт. 1839 г., Белинский писал об этом времени Н. В. Станкевичу: «Я понял идею падения царств, законность завоевателей, я понял, что нет произвола, нет случайности, — и кончилась моя тяжелая опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде» («Письма», т. I, стр. 348).

Данное Герценом объяснение этого увлечения недоразумением, «дурно понятой фразой Гегеля», вполне совпадающее с мнением, высказанным в «Воспоминаниях о Белинском» Тургеневым, несправедливо. Г. В. Плеханов показал, что Белинский сделал логически правильный вывод из «абсолютной философии», вполне согласный с положениями, выставленными самим Гегелем в предисловии к «Философии права».

Литературное выражение новые взгляды критика получили несколько позднее, в конце 1839 — начале 1840 г., в 3-х статьях: «Бородинская Годовщина, В. Жуковского», «Очерки Бородинского сражения, соч. Ф. Глинки», и «Менцель, критик Гете». «Примирение с разумной действительностью» стояло в противоречии с революционным темпераментом критика - разночинца и не могло продолжаться долго. В письме к В. П. Боткину от 4 окт. 1840 г. Белинский писал: «проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью» («Письма», т. II, стр. 163). Усвоение взглядов Гегеля имело, однако, то значение, что впер-

вые поставило Белинского перед проблемй необходимости и закономерности в историческом процессе. Подробнее об этом см. в статье Г. В. Плеханова «Белинский и разумная действительность». (Собр. соч., т. X, стр. 201—252).

(К стр. 142). Дата ошибочна. Герцен смешивает в дальнейшем два свидания с Белинским. Первое, состоявшееся действительно вскоре после переезда Белинского в Петербург, во второй половине декабря 1839 г.,—не могло повести к примирению. Вероятно об этом свидании, и рассказывает П. В. Анненков: «Когда через год после столкновения с Белинским Герцен явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения. И тогда-то, рассказывал Герцен, в жару спора со мной Белинский прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах: «Пора нам, братец», сказал критик, «посмирить наш бедный, заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с руководителями и воплощенная в них история». По сознанию Герцена, он пришел в ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился». (Анненков, «Замечательное десятилетие», стр. 185). Второе свидание, кончившееся примирением, произошло во второй половине июня 1840 г. (не раньше 13 июня, так как этим числом помечено письмо Белинского В. П. Боткину с известием, что он еще не видал «спекулятивной натуры» – А. И. Герцена, «Письма», т. II, стр. 131—132, ср. также стр. 162). Рассказ об этом свидании имеется в «Воспоминаниях о Белинском» И. И. Панаева (стр. 475—476).

В. А. ПАНАЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Когда Иван Иванович Панаев пригласил, еще в Москве, Белинского остановиться у него в доме, он рассчитывал, что может дать Белинскому не менее двух комнат внизу. Между тем, в его отсутствие мать распорядилась нижними комнатами занимаемого ею дома, поместив там в двух комнатах одну из своих любимых приживалок (другая помещалась вверху), и отвела еще две комнаты для домашнего доктора, приезжавшего два раза в неделю из Павловска в Петербург. Затем, оставалась одна свободная комната, в которую поместили меня. Иван Иванович Панаев ужасно рассердился, и в первый же час приезда вышла домашняя сцена; но делать было нечего— Белинского поместили в той комнате, в которой помещался и я.

Через несколько дней по приезде,[1]) Белинский принялся за работу, и комната его наполнилась журналами, книгами, лежавшими и на стульях, и на столах, и на диване, и на полу. Днем я старался не ходить часто в эту комнату, чтобы не мешать Белинскому, но когда приходило

1) Б—ий приехал в Петербург вместе с И. И. Панаевым в конце октября 1839 г.

время спать, а равно и утром, он много со мною разговаривал и очень полюбил меня. В это время он подарил мне свою грамматику, сделав на ней надпись.*)

Хотя Белинский занимался и днем, но видимо работы его подвигались главным образом по ночам. Днем Белинский часто засиживался наверху у Ивана Ивановича Панаева, которого очень многие посещали, и кроме того Белинский в это время-то любил поболтать с молодою женою Ивана Ивановича и поддразнивать ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности.

В этот период времени Иван Иванович вел более домашнюю жизнь. По вечерам приходили к нему близкие знакомые, и Белинский, большею частью, присутствовал тут и сосредоточивал на себе общее внимание, не только потому, что на него смотрели в этом кружке с особенным уважением, но по манере своей говорить. Белинский всегда говорил с искренним жаром, с убеждением, без уклонений и уверток; срединных мнений он не терпел, рубил с плеча, и чем дальше подвигался с изложением своего мнения, тем более разгорячался; видимо, он принимал все к сердцу; говорил не для того, чтобы поговорить или блеснуть своим мнением, нет, он

*) Эта книга хранилась у меня до 1878 г.; но один из бывших петербургских редакторов, г. [В. Ф.] [Щуниковин], выпросил ее у меня на несколько дней, чтобы просмотреть эту библиографическую редкость. Вскоре после этого сей господин очутился за границей. Я обращался к нему письмами за границу, умоляя возвратить мне дорогое для меня воспоминание и обещая простить ему денежный его мне долг в несколько сот рублей, но письма мои остались без ответа. Поневоле приходится подозревать, что моя книга продана бывшим редактором какому-нибудь библиофилу. (Прим. В. А. Панаева).

говорил потому, что завязался разговор, потому что что-нибудь задело его за живое. Предметом его речи преимущественно были или беспощадная казнь, или восторженное искреннее восхваление какого либо литературного произведения, общественного факта, литератора, или общественного деятеля.

Было чего наслушаться мне, юноше в 15 лет, приехавшему из провинции. Это время имело огромное влияние на всю мою жизнь. Но я по совести скажу, что, будучи развит далеко не по летам, вследствие условий жизни, изложенных в воспоминаниях моего детства, я никогда, и даже в описываемое мною время, не относился ни к чьим мнениям раболепно, и как ни ограничен был в то время мой личный критериум, я, однако, пропускал чужие мнения чрез собственную критику.

Из числа литераторов, я помню, что видел раз Полевого, Сахарова, Воейкова и много раз Кольцова, стихами которого я наслаждался тогда больше, нежели какими либо другими, и личность самого Кольцова производила тоже чрезвычайно приятное впечатление.[1]) Бывал также у Ивана Ивановича довольно часто Даль, человек очень умный, весьма натуральный, на ходули не становившийся и приятный, живой собеседник, обладавший не малой дозой желчи.[2]) Помню также,

---

1) В. А. Панаев ошибается: встречи с Кольцовым могли происходить только осенью 1840 г., в 1839 г. его в Петербурге не было.

Иван Петрович Сахаров (1807—1863) — археолог, фольклорист и этнограф. Основные его работы: «Сказания русского народа» (2 т., 1836—1837) и «Песни русского народа» (1838—1839) вышли незадолго перед описываемым временем и обратили на себя общее внимание.

2) Владимир Иванович Даль (1801—1872)—писатель и лексикограф.

посещавшего тоже Ивана Ивановича, Владиславлева, жандармского штаб-офицера, занимавшегося литературой и издававшего ежегодно изящные альбомы с прекрасными картинками и портретами.[1])

Я имел, конечно, столько такта, чтобы не вмешиваться в разговоры людей взрослых, пользующихся или начинавших пользоваться известностью, но постоянно присутствовал на этих вечерах и с великим удовольствием слушал толки и споры. Эти толки и споры подымали во мне мысли, побуждали меня обдумывать многое самому и, в особенности, читать. Никогда, кажется, я не читал так много, как в это время, тем более, что не было никакого другого дела.

Когда, по вечерам, никого не было, тогда Иван Иванович читал громко молодой своей жене преимущественно романы Вальтер-Скотта и Купера, и я, конечно, упивался ими.

Всего более врезались в мою память ночи. Белинский, как я уже упомянул, работал много по ночам, часов до 4, а иногда и долее. Я, бывало, долго лежал и смотрел на Белинского во время его писания. Меня интересовало наблюдать за ним, потому что занятие его казалось для меня, некоторым образом, каким-то священнодействием. Видимо было, что он жил в эти минуты, то радовался, то страдал. Его писание было плодом искренно прочувствованным; оттого-то оно и оставило по себе глубокие неизгладимые следы. Часто случалось, что он с видимым негодованием и с какою-то душевною

---

1) В. А. Владиславлев (1800—1856)—издатель альманахов «Утренняя Заря» (1839—1843).

болью отбрасывал от себя ту или другую книгу. Вероятно, это было тогда, когда ему приходилось писать библиографию. Занятия его прерывались, время от времени, курением. Тогда он накладывал себе трубку и курил ходя, видимо, обдумывая что-то.

Так как в это время ему приходилось подходить близко к дивану, на котором я спал, то я, конечно, закрывал глаза и притворялся спящим.

В течение ночи мне приходилось просыпаться не один раз и все видеть Белинского работающим, который часто кашлял таким особым звуком, который указывал на забирающуюся уже в его грудь змею.

Тогда еще у меня сжималось сердце от мысли, каким тяжелым трудом добывает себе этот человек, которого я уже сильно полюбил, кусок хлеба. Тогда еще, несмотря на мою юность и неопытный взгляд на жизнь, мне казалось ничтожным назначенное ему издателем «Отечественных Записок» вознаграждение. Я говорю об этом здесь, потому что именно во время сказанного мною бодрствования в постели, эти мысли приходили мне в голову всякий раз, как Белинский закашляется.

Как ни интересно было мне тогда наблюдать за Белинским и удовлетворяться этим наблюдением, но, конечно, это побуждение неминуемо должно бы было скоро притупиться и не поддерживать долее моей бессонницы; но в этом играло еще роль мое личное положение. Неизбежно мне приходили в голову тревожные мысли о том, когда же разрешится мой вопрос, когда же

поступлю я к профессору, когда же я начну готовиться в институт; что родители мои ничего не знают о моем положении, они думают, что я давно принялся за приготовление, и не могу оправдывать себя ни перед собой, ни перед другими за свою оплошность.[1]) Все эти мысли волновали меня в такой мере, что я чем далее, тем более утрачивал сон. Да, ночи эти мне памятны, они стоят перед мной, как будто бы это дело было вчера.

Из этого-то ужасного положения вывел меня Белинский и спас меня.

Прожив в доме три месяца, Белинский, конечно, понял домашние отношения и узнал благородный, честный, но слабый характер Ивана Ивановича. Несколько раз Белинский спрашивал меня, отчего я не учусь и не поступаю в заведение? Я уклонялся от ответа, так как дело касалось неблаговидного поступка моей тетки, считавшейся хозяйкой дома, в котором мы оба жили. Но, наконец, он настоятельно пожелал знать причину, и я рассказал ему все откровенно.

— Почему же вы не обратились к Ивану Ивановичу?—сказал он.

— Я уже не раз говорил ему и не раз он говорил матери, и по этому случаю были уже домашние сцены; но я все-таки денег не получаю,—ответил я.

— Так Иван Иванович знает все?

— Да, знает.

---

1) Мать И. И. Панаева, Мария Екимовна, израсходовала данные ей В. А. Панаевым на хранение деньги и лишила его этим возможности начать подготовку для поступления в Институт Путей сообщения.

Белинский вспыхнул и сказал: «пойдемте со мною на верх».

Когда Белинский бывал чем-нибудь взволнован, то ходил из угла в угол.

Придя к Ивану Ивановичу вместе со мною, он стал быстро ходить по комнате впродолжении минуты или более. Затем остановился, и, обратясь к Ивану Ивановичу, сказал резко, указывая на меня:

— Что вы делаете с ним?

Иван Иванович догадался, конечно, в чем дело, и, сконфузившись, ответил:

— Я уже несколько раз говорил матери, она обещала отдать деньги скоро, но говорит, что не могла до сих пор справиться. Если бы у меня были деньги, я, конечно, сейчас дал бы их.

— Ваша мать не только обобрала его, но она крадет его будущность. Как вам не стыдно, что ваша слабость доходит до таких пределов. Вы обязаны сейчас же достать деньги, займите, где хотите, за какие бы то ни было проценты, но отдайте ему скорее неотложно.

Белинский говорил так авторитетно и так горячо, что слова эти сильно подействовали на Ивана Ивановича, и он тут же написал записку с приказом управляющему его дачей, близ стеклянного завода, немедленно явиться к нему.

Управляющий дачей был прежде крепостным, но в это время был уже отпущен на волю. Он был очень красив, молод и одевался щегольски; я всегда видал его в кафтанчике из настоящего бархата с большой золотой цепочкой и в лакированных сапогах. Звали его Василием; он был в большом почете, имел для разъездов свою

лошадь с прекрасной упряжкой и был большой плут, зажиревший от барского добра. Так как этот Василий уже несколько раз говорил мне: «подождите, подождите, барин, немножко, скоро будут деньги»—то я не должен бы был надеяться на хороший результат; но на этот раз мне чувствовалось, что теперь настала решительная минута, и потому я ждал Василия с большим нетерпением и частенько посматривал в окошко. Наконец, часу в седьмом, подкатил Василий на своей щегольской лошади.

Иваном Ивановичем было отдано приказание камердинеру, чтобы, по приезде Василия, его в ту же минуту, не допуская никуда, провели прямо на его, Ивана Ивановича, половину. Когда Василий прошел в кабинет, я остался в соседней комнате. Иван Иванович был очень доброго сердца, но был горяч. В кабинете разразилась такая буря, что, как говорится, стекла дрожали от крика Ивана Ивановича и ничего нельзя было разобрать. Наконец, я услышал: «ты обманщик, врун, вор, не чрез неделю, не чрез день, а чтобы сегодня, сейчас были деньги, иначе я тебя отправлю к чорту!» Затем отворилась дверь, и Василий, красный, как рак, вылетел оттуда, вытолкнутый в зашей.

Подбежав ко мне, Василий сказал: «поедемте, барин, сейчас со мною». Вероятно, он побоялся приехать с деньгами обратно в дом, чтобы их не перехватили от него на другой половине.

Я обрадовался, и мы покатили с Васильем на его лошади в Никольский рынок. Там мы вошли в большую мясную лавку. Оказалось, что хозяин был арендатором каких-то угодий на даче. Ва-

силий потребовал уплаты денег; купец стал мяться и говорить, что отдаст после праздников, но Василий,—подобно тому, как Иван Иванович был возбужден твердым и сильным словом Белинского, был возбужден только-что бывшей с ним передрягой, — настоятельно потребовал деньги сейчас же. Делать было нечего, купец открыл ящик и стал выкладывать целковые. Когда отсчитали 400 целковых и положили их в мешок, Василий передал его мне. Я не поехал домой, и хотя было уже девять часов, попросил Василия свезти меня прямо к профессору Полонскому, к которому я должен был поступить для приготовления в институт путей сообщения.

Приехав к Полонскому, я отдал ему деньги, объяснив причину, почему я не явился к нему раньше, и сказал, что завтра перееду к нему. Но дело было перед праздником Рождества, и потому Полонский велел явиться к нему не ранее 7-го января.

Так-то я вышел из мучительного, отчаянного положения, благодаря благородной энергии Белинского и тому могучему влиянию, которое он имел на окружающих людей. Не спаси меня Белинский в самый крайний момент, вся моя будущность могла бы быть очень плачевна. Всю жизнь я не забывал этого и теперь вспоминаю о том с великою благодарностью, любовью и уважением к этому человеку.

ПРИМЕЧАНИЯ

Возвращаясь осенью 1839 г. из поездки в Казанскую губернию, И. И. Панаев познакомил в Москве с Белинским и со всем московским кружком писателей своего дорожного спутника и двоюродного брата Валериана Александровича Панаева, тогда 15-ти летнего юношу, ехавшего в Петербург поступать в Институт Инженеров Путей Сообщения. В «Воспоминаниях», напечатанных в «Русской Старине« за 1893 г., В. А. Панаев рассказывает о московских встречах с Белинским:

«В Москве мы остановились на Тверской площади в гостинице «Дрезден», которая и посейчас существует. Иван Иванович предполагал пробыть в Москве недолго, но вышло иначе.

«Дело в том, что Иван Иванович, принявший живое участие в начавшем издаваться в этом году журнале: «Отечественные Записки», стал убеждать Краевского пригласить в сотрудники Белинского, с которым Иван Иванович был уже в переписке. По приезде своем в Москву, еще до поездки в Казань, он успел уже устроить соглашение Краевского с Белинским, и, перед отъездом в Казань, условился с последним ехать в Петербург вместе, по возвращении из Казани. Белинскому почему то нельзя было немедленно выехать из Москвы; но главною причиною замедления выезда Ивана Ивановича из Москвы было то, что ему было там очень весело».

«Во время пребывания моего в Москве, раза два Иван Иванович возил меня обедать к Аксаковым. Сергей Тимофеевич очень меня обласкал, много вспоминал о моем отце и расспрашивал о нем. Из детей Сергея Тимофеевича у меня остался в памяти только Константин Сергеевич, другие дети в то время, должно быть, были в отсутствии. В числе посторонних лиц,

обедавших у Аксакова, были тогда—Белинский, Щепкин и Загоскин. Впрочем, Белинского я уже не считал посторонним человеком, потому что он каждый день бывал у Ивана Ивановича».

«Надо сказать, что Иван Иванович имел несомненную способность обрисовывать людей и знакомить с ними заочно. Еще в Казани, до приезда в Москву, Иван Иванович столько говорил о Белинском, что я приготовлен был видеть в этом человеке нечто необыкновенное. Первое наружное впечатление, при встрече с Белинским, было не совсем в его пользу. Белинский был скорее дурен, чем хорош собою; но в самое короткое время не только не замечалась его некрасота, но добрые приветливые его глаза делали лицо его привлекательным».

Первую зиму по переезде в Петербург Белинский жил у И. И. Панаева—несколько месяцев в одной комнате с В. А. Панаевым, приехавшим из Москвы несколько ранее. Относящиеся к этому времени воспоминания В. А. Панаева воспроизводятся из 9-ой книжки «Русской Старины» за 1893 г. (стр. 472—482).

Н. Н. ТЮТЧЕВ

МОЕ ЗНАКОМСТВО С В. Г. БЕЛИНСКИМ

При чтении воспоминаний К. Д. Кавелина о В. Г. Белинском мне пришло на память несколько мелких подробностей, касающихся Белинского, с которым я был дружески знаком в течение последних шести лет его жизни. *)

В начале 1841 года я прибыл в Петербург и поступил на службу в департамент податей и сборов, сперва канцелярским чиновником, как это тогда водилось, а потом переводчиком.

Сперва я жил один, но весною 1842 года познакомился со мною приехавший в Петербург бывший редактор Харьковских губернских ведомостей Александр Яковлевич Кульчицкий. Он

---

*) Я родился в 1815 году, в Смоленской губернии; в 1825 г. покойный отец, помещик Рославльского уезда, отвез меня в Саксонию, где я прошел гимназический курс в одном частном учебном заведении; затем в тридцатых годах я окончил университетский курс в Дерпте, кандидатом по отделению камеральных наук, и до поступления на службу провел несколько лет, по семейным делам, в поездках за границею и по России. (Прим. Н. Тютчева).

Воспоминания Н. Н. Тютчева были им написаны для А. Н. Пыпина, подготовлявшего биографию Белинского, и помечены 19 февр. 1874 г. Они были напечатаны полностью Е А. Ляцким в III томе «Писем Белинского», откуда и воспроизводятся. Причастный к литературе только по своим переводам, печатавшимся в «Отечественных Записках», Н. Н. Тютчев был постоянным членом петербургского кружка писателей, группировавшихся вокруг Б—го.

имел рекомендательные письма ко мне и к некоторым другим лицам. То был человек с организмом нервным и болезненным, по природе своей в высшей степени впечатлительный, во время болезненных припадков склонный к раздражению, но притом самого честного нравственного направления, в умственном отношении идеалист и романтик. Он имел влечение к литературным занятиям, был наделен легким юмором, но талант его был слишком незначителен, и чувство бессилия составляло мучение его жизни. Он вообще расположен был к ипохондрии, харьковская среда не удовлетворяла его, и в Петербург его влекло преимущественно желание сблизиться с литературным миром. На службу он поступил секретарем в Канцелярию Военного Министерства.

Оба мы чувствовали себя одинокими в Петербурге и, несмотря на совершенное различие характера, сошлись с ним довольно близко и решились поселиться на одной квартире. *) Впоследствии к нам присоединился К. Д. Кавелин, прибывший в Петербург из Москвы и поступивший на службу по Министерству Юстиции помощником столоначальника.

Все трое мы занялись в скором времени переводами с иностранных языков для редакции «Отечественных Записок», получая по 10 руб. сер. с печатного листа. Квартира наша находилась близ Михайловского дворца, в доме Жербина, на дворе, во 2-м этаже. Мы занимали 4 большие комнаты, с кухнею и переднею, и за это про-

*) Он не разлучался со мною до смерти, последовавшей от чахотки в апреле 1845 г. (Прим. Н .Тютчева).



Н. Н. Тютчев

сторное помещение в центре города, на хозяйских дровах, платили по 100 руб. асс. в месяц, т. е. около 343 руб. сер. в год.

Еще до приезда к нам Кавелина Кульчицкий ввел меня в семейство И. И. Панаева, жившего тогда в 4-м этаже дома Лопатина (ныне Семянникова) у Аничкина моста. Там я познакомился с Белинским, И. И. Масловым и прочими лицами, упоминаемыми в воспоминаниях Кавелина. П. В. Анненков находился тогда преимущественно за границею, но во время приездов в Петербург бывал постоянным членом нашего общества.

С первой встречи Белинский отнесся ко мне радушно и сердечно, а на меня произвел глубокое впечатление, не только своим светлым умом и крупным талантом, но преимущественно глубоко-страстною искренностью, составлявшею главное основание его натуры. Он всегда искал истины, постоянно служил ей. Он искал ее со страстью, он увлекался, он мог ошибаться, но ум его всегда жаждал истины, он внимал голосу противника, если верил в его добросовестность, и первый сознавался в своих ошибках, казнил себя беспощадно, как скоро убеждался, что противник его прав.

В нем не было ни искры мелкого самолюбия, ни предвзятых мыслей, ни упорства,—никаких притязаний на доктринерство и непогрешимость, столь часто встречающихся у вожаков партий в ученом и особенно в литературном мире.

Когда я познакомился с Белинским, он занимал небольшую квартиру во дворе вышеупомянутого дома Лопатина. В том же дворе занимал квартиру и А. А. Краевский, редактор и изда-

тель «Отечественных Записок»,—тогда не имевший еще собственного дома. Квартира Белинского находилась над сараями во 2-м этаже и состояла из 4-х весьма небольших комнат. Более просторная комната, о двух окнах, служила ему кабинетом,—направо от окон стояли его письменный стол и конторка. Стена перед столом была покрыта целою группою портретов, отчасти лиц исторических, отчасти близких знакомых. Особенно мне врезался в память акварельный портрет Николая Станкевича.

Остальные стены кабинета были обставлены простыми открытыми полками, на которых помещалась его библиотека, богатая преимущественно по части русской истории и русской словесности. Книги с верхних полок он доставал посредством складного табурета, открывавшегося в виде лестницы.

В другой комнате, служившей гостиною, находилась на стене группа литографий, изображавших женские типы из романов Жорж Санда. Упомяну кстати, что по части живописи Белинский имел вкус весьма определенный. Он не придавал особой цены картинам исторического, духовного и аллегорического содержания, но очень любил пейзаж и жанр, реальную, особенно фламандскую школу,—не допуская, впрочем, ничего грубого, обличительного, карикатурного. Он был проникнут глубоким чувством изящного, но не любил оставлять реальную почву. Целые утра проводил он в фламандском отделении Эрмитажа и с восторгом вспоминал о картинах, произведших на него особое впечатление. Картин он, конечно, по ограниченности средств, покупать

не мог, но небольшие свободные деньги тратил на покупку книг и на приобретение хороших, особенно старых гравюр, которые он очень любил.

Будучи критиком «Отечественных Записок» и работая сверх сил, он получал годового жалованья 1286 руб. сер. (4500 руб. асс.), а когда он в ноябре 1843 г. женился, то ему было прибавлено 143 руб. (500 руб. асс.), так что до основания «Современника» в 1848 году он с семейством должен был довольствоваться годовым содержанием в 1429 руб. (5000 асс.).[1]) Понятно, как трудно было ему сводить концы с концами. Он должен был отказывать себе во всем. Но бедность его была почтенная. Никогда он не жаловался на трудность своего положения, и квартира его содержалась всегда в безукоризненной чистоте. У него было много цветов и растений, за которыми он всегда сам ухаживал с особенною любовью и старательностью.

Я навещал его в свободное для него время, но изредка случалось заходить и в часы, посвященные журнальной срочной работе.

Писал он с большим одушевлением, быстро, крупным почерком, почти без помарок, на одной стороне полулистов, приготовленных для работы. Дописав страницу, он откладывал исписанный, еще мокрый от чернил полулист, и продолжал писать на другом полулисте. Вторая страница полулиста оставалась белою.

Между тем, не помню, в котором именно году, переехал из Харькова в Петербург известный переводчик Андрей Иванович Кронеберг; он со-

---

1) «Современник» перешел под новую редакцию (Некрасова, Панаева и Никитенки) в 1847 г.

шелся близко с нашим кружком. На службе он не состоял, жил исключительно литературными трудами и работал преимущественно для редакции «Отечественных Записок». Свободное время он посвящал шахматам и музыке. Он очень любил симфоническую музыку и сам прекрасно играл на фортепиано.

Раз как-то иду я по Невскому, встречается со мною Андрей Иванович и рассказывает мне, что он перевел, между прочим, с французского роман «Королеву Марго», получил условленную плату за перевод, помещенный в «Отечественных Записках», но что сейчас он прочел в газетах объявление о том, будто роман, в его переводе, издан особою книжкою, а так как он позволения на то никому не давал, то и хочет удостовериться, кем издан роман особо. Зашли мы в книжный магазин. Кронеберг купил экземпляр романа в новом издании, удостоверился, что роман издан Краевским, купил вслед затем X том Свода Законов Гражданских, отыскал закон о литературной собственности, положил заметку против статьи, взял обе книги под мышку и отправился к Андрею Александровичу. Встретив отпор, он объявил хладнокровно, что дело поступит в суд, если он не получит денежного вознаграждения на точном основании закона; при этом он объявил размер своего требования и назначил срок уплаты. Накануне дня, назначенного Кронебергом, Андрей Александрович прислал Андрею Ивановичу причитавшиеся ему деньги (кажется, с чем то 500 р. сер.) и вместе с тем отказ от дальнейшего участия в переводах для «Отечественных Записок».

Кронеберг пришел ко мне поделиться вестью о своей победе. Отправились мы оба к Белинскому. Кронеберг с свойственною ему трезвостью и деловитостью выражений передал Белинскому голый рассказ о ходе дела, не разукрасив его ни одною фразою. Белинский слушал напряженно, с величайшим вниманием: не проронив ни одного слова, он вышел в переднюю, подошел к углу, взял в руки трость, возвратился к Кронебергу, молча передал ему трость, стал перед ним на колени, и тогда только сказал ему: «Андрей Иванович, голубчик, поучите меня дурака». [1]

В ноябре 1843 года Белинский женился на Марии Васильевне Орловой, получившей воспитание в одном из московских институтов [2]) и бывшей впоследствии гувернанткою в частных домах, между прочим, у Ив. Ив. Лажечникова, а затем классною дамою в том самом институте, где она воспитывалась. Мария Васильевна была высокого роста и в молодости, говорят, была недурна собою. Выходя замуж, она была уже зрелых лет, насквозь болезненная, и с нервическою дрожью во всем теле. Движения ее были угловаты и лишены всякой грации; походка ее была какая-то порывистая, при каждом шаге она точно всем телом падала вперед.

Мне неизвестно, в какой среде провел Белинский свои детские годы, но я полагаю, что он

---

1) А. И. Кронеберг (ум. в 1855 г.) известен своими переводами Шекспировских драм. В Петербург Кронеберг переехал в начале 40-х годов; столкновение его с Краевским относится к 1815 г., когда вышел перевод романа А. Дюма «Королева Марго». Об этом эпизоде говорит Белинский в письме к Герцену от 2-го января 1846 г. «Письма», т. III, стр. 90).

2) Александровском.

рос вне благотворного влияния семьи и образованного женского общества. Ему приходилось вырабатываться самостоятельно, собственными усилиями. И он выработался блистательно в специальности, которой посвятил себя, но в отношении общества он остался дикарем. Когда он переселился уже в Москву и поступил в число студентов, то, кроме товарищей и учеников, он мало с кем встречался, поэтому был совершенно чужд женскому обществу и почти вовсе не знал женщин.

Во время поездки в Москву, летом 1843 года, он увиделся с Марьею Васильевною, которую встречал, хотя изредка, еще в то время, когда сам был студентом, а она гувернанткою. В 1843 году она была классною дамою. При свидании с нею завязался литературный разговор. Мария Васильевна, следившая за русскою журналистикою, привела Белинского в совершенный восторг рассуждениями, вычитанными из его же статей. Повторенный ею урок он принял за проявление собственного развития; он увлекся ею страстно, как вообще был склонен увлекаться идеалами собственной фантазии, предложил ей руку, и не успокоился, пока не получил ее согласия. [1])

На маленькую квартиру в доме Лопатина переехала к женатому Белинскому вскоре и свояченица его, Аграфена Васильевна, называвшаяся, впрочем, «Agrippine».

---

1) С М. В. Орловой Белинский познакомился в 1835 г., уже по выходе из университета. Живой, но не во всем достоверный, рассказ о знакомстве Б—го с М. В. Орловой и о его женитьбе имеется в воспоминаниях А. Панаевой (стр. 136-141).

Обе сестры, уже не молодые, почти всю жизнь проведшие в институте, смотрели и на весь мир преимущественно сквозь институтскую призму. Говорили они между собою почти всегда по-французски, о различнейших мелочах и дрязгах, и всего чаще я слыхал из уст то одной, то другой: «Ma soeur, où sont les clefs?», «Ma soeur, donnez moi les clefs».

Понятно, что в этой среде Белинский не мог найти того, что искал, именно полного духовного общения, семейного союза, в высоком значении этого слова. Но когда хроническая болезнь его приняла характер более угрожающий, он нашел в пустой жене и в придурковатой свояченице,—усердных, хотя и ворчливых сиделок.

Белинский был женат $4^1/_2$ года. У него было двое детей. [1]) Сперва родилась дочь Ольга, которую крестил Ив. Ил. Маслов и Аграфена Васильевна Орлова. Дочь Белинского воспитана матерью и находится при ней и теперь. Затем родился сын, у которого восприемниками были И. С. Тургенев и жена моя Александра Петровна. Он умер в младенчестве и был горько оплакан Белинским. Детей своих Виссарион Григорьевич любил нежно и страстно. Прийдешь, бывало, к нему и зачастую застанешь, как он возится на четвереньках, несмотря на свою чахотку, и не отстает от детских игр, пока не впадет в полное изнеможение. Когда умер его сын,[2]) то я с женою пошли навестить его. Мы застали его в страшном горе. Он ходил взад и вперед, совершенно

1) У Белинского было трое детей. См. «Воспоминания» А. В. Орловой, стр. 353, 361 и 370.

2) В марте 1847 г.

потерянный, остановился у притолки и, указывая на мертвого ребенка, сказал: «Сейчас лег бы на площади под кнут, если бы это могло воскресить его».

В конце 1844 года я женился на юге России и привез жену в Петербург, а в конце 1845 г. переехало к нам и семейство моей жены, состоявшее из ее матери и сестры.—Мы наняли в доме Лопатина, в 3-м этаже, квартиру, выходившую на угол Невского проспекта и Фонтанки.

Белинский очень полюбил мою жену и родных ее и часто проводил у нас свободные часы. У нас много занимались музыкою, особенно классическою. Бывало, сидит и слушает безучастно. Затем подойдет к фортепиано и скажет: «Ну, а теперь сыграйте для меня». Эта фраза означала, что нужно сыграть «Leiermann» Шуберта и danse infernale из Роберта, единственные две музыкальные пьесы, которые он, по собственному его отзыву, понимал и любил.

Помню и я сцену из «Лючии», рассказанную Кавелиным. Сколько я понимаю, тут на Белинского подействовала не музыка, а трагизм сцены проклятия. Как теперь, вижу его лицо, бледное, потерянное, изображающее ужас и отчаяние.

Вспоминаю еще одно мелкое происшествие, случившееся весною 1845 г., которое бросает яркий свет на семейный быт Белинского.

Отработавшись, Белинский заходит к нам в один прекрасный майский или июньский день и предлагает съездить в Биржевой сквер. Мы согласились, спустились к Фонтанке и наняли лодку, в которой поместились Белинский с своими двумя дамами и я с женою. День был прекрас-

ный. Белинский весел, как ребенок. На бирже его все радовало: и птицы, и рыбы, и раковины, и особенно растения. Увидел он кактус с красным цветком, какого он давно желал, пленился им и купил его. Бережно завернул он свое сокровище и стал нас звать в лодку для обратного пути. Уселись мы, гребец начал работать веслами, а жена и свояченица Белинского стали рассуждать о том, как безрассудно человеку бедному и семейному бросать деньги на пустые растения, которых и без того девать некуда. Разговор этот подействовал на В. Г. поразительно. Он умолк, съежился, нахмурился, довез молча цветок до дома, молча взял его на руки у пристани, и мрачный, унес его на свою квартиру.

По случаю слабости его груди доктора приказывали ему нанимать дачу где-либо около соснового леса. Помню, как одно лето он провел на крошечной дачке, в самом лесу, около Поклонной горы. Он жил там с семейством в совершенном уединении, и любимою забавою его было брать грибы. На несчастие его и Аграфена Васильевна разделяла его страсть. Бывало, пойдут в лес, и Белинского, который в большом и малом был равно страстен, трясет лихорадка от одной мысли, что свояченица перебьет у него какой-нибудь гриб. Близорукий, с слабою грудью, он спешит, озирается, и если вдали увидит гриб, то бежит к нему, падает, закрывает его руками и громко заявляет свои права на усмотренный им гриб. Набрав много грибов, он возвращается омой совершенно счастливый, и с спокойным ухом принимается опять за прерванные литеатурные занятия.

Ожидая рождения сына, Белинский переехал, кажется в 1846 году, на более просторную квартиру, чуть ли не в дом Федорова, на Фонтанке, между Аничкиным и Семеновским мостами, но там он потерял новорожденного и долго на этой квартире не оставался.

Летом 1846 года он ездил с М. С. Щепкиным на юг России, посетил Одессу, Николаев и, кажется, Крым. Он очень полюбил черноморских моряков, встретивших с большим радушием заслуженного артиста и первоклассного критика.

В 1847 г. он поехал за границу искать облегчения от развивавшейся чахотки. Облегчения он, конечно, не мог найти, но страшно соскучился по родине и по семье, и осенью 1847 г. поспешил обратно в Петербург.

Недалеко от того места, где ныне находится станция Николаевской железной дороги, тогда еще не существовавшая, на Лиговке, против Кузнечного мостика, он нанял в доме Галченковых, на дворе, особый деревянный, довольно просторный, полутораэтажный флигель, окруженный деревьями, рассчитывая, что квартира эта будет служить ему и дачею.

На этой квартире он провел последнюю зиму, радуясь на свои растения, которым было много солнца, а болезнь его принимала все более и более угрожающий характер, и опасность становилась очевидною.

Работать он уже не мог. Мы посещали его часто, развлекая его беседою, и уносили с собою тяжелое убеждение в неминуемости последнего кризиса.

Во второй половине мая 1848 г. посылает он как-то раз за мною. Прийдя к нему, я застаю

его в страшном волнении и беспокойстве. Дело в том, что к нему явился жандарм с повесткою, приглашавшею его в III отделение. Стоит только вспомнить начало 1848 года и репрессивные меры, принятые у нас вслед за февральской революцией в Париже и за мартовскими волнениями в Германии, чтобы понять, какое впечатление должно было произвести неожиданное и загадочное появление жандарма в квартире Белинского.

Виссарион Григорьевич, не встававший уже с кресла, задыхающимся от волнения и от слабости голосом просил меня побывать в III отделении, отыскать там бывшего учителя Белинского, в то время служившего старшим чиновником в III отделении, действительного статского советника Попова, и узнать: для чего его требуют.

Приехав в III отделение, я объяснил Попову о тяжкой болезни Белинского, приковавшей его к креслу, и спросил: чего от него желают.

Попов вспомнил с нежностью о детских годах Белинского, выразил участие к его болезненному состоянию, просил меня успокоить больного и объяснить ему, что он вызывался не по какому-либо частному делу или обвинению, но, как один из замечательных деятелей на поприще русской литературы, «единственно для того, чтобы лично познакомиться с Леонтьем Васильевичем Дуббельтом, хозяином русской литературы» (Sic). [1])

1) Л. В. Дубельт (1792—1862)—состоял с 1839 г. управляющим III отделением. О вызове Белинского в III отделение в феврале 1848 г. см. «Русская Старина», 1882 кн. II, и «Былое», 1906 г., октябрь.

Через несколько дней скончался Виссарион Григорьевич, и мы похоронили его на деньги, собранные между близкими его знакомыми; участвовавшие в складчине согласились вносить и впредь ежегодно определенную каждым сумму, пока не будет пристроено семейство покойного.

Тут явилась мысль разыграть в лотерею, в пользу семейства, библиотеку покойного. Для этого надобно было выхлопотать разрешение правительства. Вспомнив мои недавние переговоры с Поповым и теплый отзыв последнего о Белинском, друзья Белинского возложили на меня переговоры и в настоящем случае.

Услышав о смерти Белинского, Попов выразил сожаление о столь преждевременной кончине замечательного критика, но, только что я заговорил о лотерее, он весь изменился в лице, окрысился и зашипел на меня: «это все равно, милостивый государь, как если бы Вы просили разрешения на объявление о лотерее в пользу семейства государственного преступника Рылеева».

Переехав на житье в Москву, вдова Белинского несколько времени спустя получила в своем институте место кастелянши, сестра ее определилась классною дамою, а дочь пользовалась уроками в том же заведении.

Когда 12 лет спустя был основан литературный фонд, то он назначил вдове и дочери Белинского пенсию в размере 600 руб., которая впоследствии, по собственному заявлению Марии Васильевны, была сокращена до 300 руб., во внимание к тому обстоятельству, что благодаря стараниям Н. Х. Кетчера, взявшего на себя весь

труд редакции и корректуры, и материальному содействию К. Т. Солдатенкова и Н. М. Щепкина — полное собрание сочинений Белинского было издано в 12-ти томах, и успешная продажа их окончательно обеспечила безбедное существование семейства этого даровитого, честного, неутомимого труженика, всю жизнь свою посвятившего служению истине и общественному благу.

И. С. ТУРГЕНЕВ

ВСТРЕЧА МОЯ С БЕЛИНСКИМ

(ПИСЬМА К Н. А. ОСНОВСКОМУ)

I [1]

Я познакомился с Белинским в конце 1842 года, в С.-Петербурге. Он жил тогда в доме Лопатина, у Аничкова моста.—Меня привел к нему наш общий знакомый З.[2])—Я много слышал о нем и очень желал познакомиться с ним, хотя некоторые его статьи, написанные им в предыдущем (1841) году, возбудили во мне недоумение.[3]) Я увидел человека небольшого роста, сутулого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белоку-

---

1) Статья эта, с подзаголовком «Письма к Н. А. Основскому», появилась в 3-м номере «Московского Вестника» за 1860 г. и в прижизненные собрания сочинений автором не включалась. Обещанное и подзаголовком и последними строками письма продолжение в печати не появлялось. Н. А. Основский — московский издатель, в том же 1860 г. им были выпущены «Сочинения И. С. Тургенева». В настоящем издании статья воспроизводится по тексту «Московского Вестника».

2) Б—ий писал 23 февраля 1843 г. В. П. Боткину: «Недавно познакомился я с Тургеневым. Он был так добр, что сам изъявил желание на это знакомство. Нас свел Зиновьев, которого знает Варвара Александровна (Бакунина). Кажется, Тургенев хороший человек» («Письма» — II, 343).

3) Тургенев имеет в виду, конечно, статьи не 1841, а 1839—1840 гг., написанные под влиянием увлечения «разумной действительностью» — так называемые «Бородинские» статьи и статью «Менцель, критик Гете».

рыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но опрятный байковый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась. Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без одушевления, без улыбки, как-то криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом; он выражался общими, принятыми в то время в литературном кругу, местами, отозвался с пренебрежением о двух-трех известных лицах и изданиях, о которых и упоминать бы не стоило; но он понемногу оживился, поднял глаза, и всё лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болезненное выражение заменилось другим: открытым, оживленным и светлым; привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда и заметил. Белинский сам навел речь на то настроение, под влиянием которого он написал свои прошлогодние статьи, особенно одну из них и, с безжалостной, преувеличенной резкостью осудив их, как дело прошлое и темное, беззастенчиво высказал перелом, совершившийся в его убеждениях.— Я с намерением употребил слово: беззастенчиво. Белинский не ведал той ложной и мелкой щепетильности эгоистических натур, которые не в силах сознаться в том, что они ошиблись,



И. С. Тургенев

потому что им их собственная непогрешимость и строгая последовательность поступков, часто основанные на отсутствии или бедности убеждений, дороже самой истины. Белинский был самолюбив, но себялюбия, но эгоизма в нем и следа не было; собственно себя он ставил ни во что̀: он, можно сказать, простодушно забывал о себе перед тем, что признавал за истину; он был живой человек,—шел, падал, поднимался и опять шел вперед, как живой человек. Спешу прибавить, что падал он только на пути умственного развития: других падений он не испытывал и испытать не мог, потому что нравственная чистота этого—как выражались его противники (где они теперь!)—«циника» была по истине изумительна и трогательна; знали о ней только близкие его друзья, которым была доступна внутренность храма.

Белинский встал с дивана и начал расхаживать по комнате, понюхивая табачок, останавливаясь, громко смеясь каждому, мало-мальски острому слову, своему и чужому. Должно сказать, что собственно блеску в его речах не было: он охотно повторял одни и те же шутки, не совсем даже замысловатые; но когда он был в ударе и умел сдерживать свои нервы (что̀ ему не всегда удавалось: он иногда увлекался и кричал), не было возможно представить человека более красноречивого, в лучшем, в русском смысле этого слова: тут не было ни так называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим и слушателями

за «настоящее дело»;—это было неудержимое излияние нетерпеливого и порывистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь. Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой; то есть, он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, как, например, его малый запас познаний, его неусидчивость и неохота к медленным трудам, получали характер как бы необходимости, имели значение историческое. Человек ученый не мог бы быть истинным представителем нашего общества двадцать лет тому назад; он не мог быть им даже теперь. Но это не мешало Белинскому сделаться одним из руководителей общественного сознания своего времени. Ибо, во-первых, он, хотя и не был учен, знал однако довольно для того, чтоб иметь право говорить и наставлять других; а во-вторых—он знал именно то, чтó нужно было знать, и это знание срослось у него с жизнью, как во всякой центральной натуре. Можно быть человеком весьма умным, блестящим и замечательным и находиться в то же время на периферии, на окружности, если можно так выразиться, своего народа... Всякому случалось встречать такие натуры: нельзя не сожалеть об их бесплодности, но удивляться ей нечего. Однако, я отвлекаюсь от предмета моего письма.

После первого моего посещения Белинского, я виделся с ним несколько раз впродолжении

зимы. На святой я уехал в деревню и уже опять встретился с ним летом на даче Лесного Института. Тут мы сошлись с ним окончательно и видались почти каждый день.[1]) В то время (публика об этом давно забыла — я по крайней мере льщу себя этой надеждой) я напечатал небольшой рассказ в стихах, который, в силу некоторых, едва заметных крупиц чего-то похожего на дарование, заслужил одобрение Белинского, всегда готового протянуть руку начинающему и приветствовать все, что́ хотя немного обещало быть полезным приращением тому, что́ Белинский любил самой страстной любовью — Русской словесности.[2]) Он даже напечатал статью об этом рассказе в «Отечеств. Записках»,[3]) — статью, которую я не могу вспомнить не краснея; за то́ в весьма непродолжительном времени надежды Белинского на мою литературную будущность значительно охладели, и он стал считать меня способным на одну лишь критическую и этнографическую деятельность.[4]) Как бы

1) Тургенев ошибается. Встречи его с Б—им в Лесном относятся к лету 1844 г. Июнь—август 1843 г. Б—ий прожил в Москве.

2) Речь идет о поэме «Параша», выпущенной Тургеневым под инициалами Т. Л. В письме от 10—11 мая 1843 г. Б—ий спрашивал В. П. Боткина: «Читал ли ты «Парашу?» — Это превосходное поэтическое создание» («Письма», т. II, стр. 369), а 8 июля писал И. С. Тургеневу: «Я еще раз десять прочел ее («Парашу»): чудесная вещь, вся насквозь пропитанная и поэзиею (что очень хорошо), и умом (что еще лучше, особенно вместе с поэзиею)». («Письма», т. II, стр. 373).

3) «Отечественные Записки», 1843 г., т. 28, № 5 «Библиографическая хроника. «Параша». Рассказ в стихах Т. Л.» Рецензия написана в очень сочувственном тоне («...прекрасное поэтическое произведение, так отрадно освежившее душу нашу от прозы и скуки ежедневного быта...»).

4) См. ниже приложенные к «Воспоминаниям о Б—ом» Тургенева письма Б—го.

то ни было, но наше сближение летом 1843 года имело результатом продолжительные шестичасовые беседы, в течение которых мы с Белинским касались всех возможных предметов, преимущественно, однако, философских и литературных.

Он занимал одну из тех сбитых из барочных досок и оклеенных грубыми пестрыми обоями клеток,—которые в Петербурге называются дачами; состоял при этой даче какой-то неприятный, всем доступный садишко, где растения не могли — да кажется и не хотели дать тени; сообщения с Петербургом были затруднительны— в ближней лавочке не находилось ничего, кроме дурного чаю и такого же сахару—словом, удобств никаких! Помнится, Белинский, человек совершенно непрактический, в житейском смысле, купил, между прочим, по совету доктора, козу для молока, а у козы за старостью лет молока не оказалось.—Но лето стояло чудесное—и мы с Белинским много гуляли по сосновым рощицам, окружающим Лесной Институт; запах их был полезен его уже тогда расстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкий, усеянный тонкими иглами, мох — тут-то происходили между нами те долгие разговоры, о которых я упомянул выше. Я тогда недавно воротился из Берлина, где занимался философией Гегеля;[1]) Белинский расспрашивал меня, слушал, возражал, развивал свои мысли—и все это он делал с какой-то алчной жадностью, с каким-то стремительным домогательством истины. Трудно было

1) Тургенев из Берлина вернулся весной 1841, весной 1842 г. он хлопотал о получении кафедры философии в Московском университете.

иногда следить за ним; человеку хотелось — по человечеству — отдохнуть — но он не знал отдыха — и ты поневоле отвечал и спорил — и нельзя было пенять на это нетерпение: оно вытекало из самых недр взволнованной души. Страстная по преимуществу натура Белинского высказывалась в каждом слове, в каждом движении, в самом его молчании; ум его постоянно и неутомимо работал; — но теперь, когда я вспоминаю о наших разговорах, меня более всего поражает тот глубокий здравый смысл, то, ему самому не совсем ясное, но тем более сильное сознание своего призвания, сознание, которое при всех его безоглядочных порывах не позволяло ему отклоняться от единственно полезной в то время деятельности: литературно-критической, в обширнейшем смысле слова. Критика его не имела тогда (да и после) никакой заране определенной системы: собственно теория критики, рассуждения о разных ее родах и т. д. его мало занимали: он и в этом был прямо русский, не отвлеченный человек. Для него литература была одним из самых полных проявлений живых сил народа; он требовал от критика вообще—и от себя—не столько изучения народа и его истории, сколько любви к нему и понимания его, вместе с пониманием художества и поэзии, и полагал, что с этими данными критик имеет право выражать свое мнение. Он чувствовал, что в то время, когда он писал, прямо действовать на общественное сознание было не возможно; разработывать массу данных фактов, вносить критический анализ в историю нашей литературы—для этого ему не доставало сведе-

ний, а главное тогда было не до того. Тогда следовало расчистить самый родник, уяснить первоначальные понятия современников о том, что в словесности нашей представлялось как правда и как красота, следовало сказать обо всех ее явлениях искреннее и смелое слово — и Белинский принялся за это дело со всей несокрушимой энергией своей восторженной натуры. В этом деле никто не был его учителем, руководителем: из кружка своих московских друзей он вынес почти все свои познания, знакомство с результатами науки; он многим был им обязан, они дали ему в руки орудие, но никто не мог сказать ему, как им действовать, против кого сражаться; он как будто проводил их идеи, исполнял их замыслы,—но ни один из его товарищей-наставников не был в состоянии заменить его, делать его дело, потому что он превосходил их всех без исключения силой и тонкостию эстетического понимания, почти непогрешительным вкусом. При его страстном желании быть всегда истинным, при отсутствии в нем всякой мелкой щепетильности, Белинский легко поддавался влиянию людей, которых он уважал и которым верил. В его натуре лежала склонность к преувеличению, или, говоря точнее, к беззаветному [1]) и полному высказыванью всего того, что ему казалось справедливым; осторожность, предусмотрительность были ему чужды; стоило только взглянуть на полулисты, которые он посылал в типографию, на эти прямые, как стрелы, строки его быстрого, крупного, своеобразного почерка,

1) Исправлена очевидная опечатка газетного текста, где напечатано: «безответному».

почти без помарок, чтобы понять, что это писал человек, который не взвешивал и не рассчитывал свои выражения. Оттого он часто увлекался и впадал в противоречия с самим собою, на которые враги его указывали потом с злорадным и бесплодным торжеством; оттого он в течение года внезапно начал наполнять свои статьи школьными выражениями немецкой философии, которым он сам почти добродушно радовался; оттого он иногда, читая между строками у авторов, в роде Красова, превозносил их за то, что он один прочел, за то, на что они едва намекали.[1]) Но со всем тем можно утвердительно сказать, что этот наплыв, что эти набежавшие волны не касались его почвы, и что он даже в самых далеких своих «странствованиях» все-таки оставался самим собою, т. е. оригинальным и самобытным мыслителем, едва ли не самым замечательным критиком своего времени. С этим вероятно согласятся все те, которые внимательно прочтут его недавно собранные и изданные сочинения. Особенно замечательны и интересны были его критические отношения к Пушкину, Гоголю и Лермонтову— этим трем, далеко не одинаково даровитым, но полнейшим представителям нашей поэзии. Впрочем, я намерен поговорить об этом с вами во втором моем письме, которое последует вскоре. Но не могу теперь же не рассказать

---

1) Василий Иванович Красов (1810—1855)—поэт кружка Станкевича. Отношение к его стихам в Петербурге у Б—го переменилось. 6 февраля 1843 г. он писал В. П. Боткину: «Какое страдание, если стишонки Красова и Ѳ. (И. П. Клюшникова) были фактом жизни и занимали меня, как вопросы жизни и смерти» («Письма», т. II, стр. 333).

Что нужды, что онъ въ міре
шествуетъ, можетъ быть, отвергъ
соперниковъ, питомцевъ ~~[illegible]~~ своего
славнаго юности, не гостемъ, но уже
хозяиномъ на ~~-~~ великомъ пиру
современности! Мы уверены,
что онъ первый и отъ всего сердца
поздравитъ насъ съ победою!

В. Белинскій.

Снимок с автографа В. Г. Белинского

(Конец статьи—„Гамлет принц датский“, 1838 г.)

вам один случай, в котором особенно ясно высказался характер Белинского. В первые дни своего пребывания на даче Лесного Института его занимал один очень важный религиозный вопрос: поверите ли, что в течение восьми дней, пока он не добился удовлетворительного, по его мнению, разрешения своих сомнений, он был в лихорадке, ни о чем другом говорить не мог, не понимал даже, как можно говорить о чем-нибудь другом, пока вопрос такой важности не разрешен, и упрекал меня в легкомыслии, как только я позволял себе малейшее уклонение. Черта, быть может, забавная, но над которой стоит призадуматься, особенно нам, русским людям—и особенно теперь!

И. С. ТУРГЕНЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше.[1]) Вскоре после появления его первых критических статей в «Молве» и «Телескопе» (1836—1839),[2]) в Петербурге начали ходить слухи о нем, как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и нападал на «все»—на все в литературном мире, конечно. Другого рода критика была тогда немыслима—в печати. Многие, даже между молодежью, осуждали его и находили, что он слишком смел и далеко заносится; старинный антагонизм Петербурга и Москвы придавал еще более резкости тому недоверию, с которым читатели на берегах Невы относились к новому московскому светилу. Притом, его плебейское происхождение (отец его был лекарь, а дед диакон) возмущало

1) Знакомство Тургенева с Б—им началось ранее — в конце 1842 или начале 1843 г. (См. предыдущую статью). 3 апреля 1843 г. Б—ий писал В. П. Боткину: «Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу». («Письма», т. II, стр. 360).

2) Ошибка в дате. В «Молве» и «Телескопе» Б—ий сотрудничал с 1833 по 1836 г., в 1838—1839 гг., до перехода в «Отечественные Записки» он работал в «Московском Наблюдателе».

аристократический дух, установившийся в нашей литературе с Александровских времен, времен «Арзамаса» и т. п. В тогдашнее, темное, подпольное время сплетня играла большую роль во всех суждениях — литературных и иных... Известно, что сплетня до сих пор не совсем утратила свое значение; исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. Целая легенда тотчас сложилась и о Белинском. Говорили, что он недоучившийся казенный студент, выгнанный из университета тогдашним попечителем Голохвастовым за развратное поведение (Белинский—и развратное поведение!); уверяли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов; упорно, и как бы в укоризну называли его «Беллынским».[1]) Слышались, правда, голоса и в его пользу; помнится, издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала отзывался о нем, как о птичке с ноготком, как о живчике, которого не худо бы завербовать—что̀, как известно, и было впоследствии приведено в исполнение, к великому преуспеянию журнала и к великой выгоде самого... издателя.[2]) Что касается до меня, то знакомство мое с Белинским, как писателем, произошло следующим образом.

---

1) И. И. Панаев рассказывает, как во время прогулки с Б—им по Невскому его остановил Ф. В. Булгарин и осведомился о его спутнике:

«— А! а... — и он начал осматривать Белинского с несказанным любопытством с ног до головы.—Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?» (Воспоминания о Белинском, стр. 479).

2) Издателя «Отечественных Записок» А. А. Краевского.



Тень труженика-критика. Ты строишь дом?

Журналист. Благодаря тебе и литераторам на каменном фундаменте.

Тень. Так помни это!

Краевский и Белинский

Каррикатура А. Хлещенко

Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 г. маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе — как теперь ее вижу, — и привели в восхищение все общество, всех литераторов, критиков — всю молодежь.[1]) И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами», и даже «Матильдой» на жеребце, гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранжэ появился № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова.[2]) Я немедленно отправился к Беранжэ, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но—странное дело! и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что́-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с бо́льшей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав... Прошло несколько времени— и я уже не читал Бенедиктова. Кому же неизвестно теперь, что мнения, высказанные тогда

---

1) Первый томик стихотворений В. Г. Бенедиктова вышел в 1835 г.

2) Статья «Стихотворения Владимира Бенедиктова. Спб. 1835 г.». «Телескоп», 1835 г., т. 27, цензурное разрешение 24 ноября 1835 г.



Краевский и Белинский

Каррикатура А. Хлещенко

Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною—стали всеми принятым, общим местом — «a truism», как выражаются англичане? Под этот приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей. Имя Белинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма «Параша», о которой я говорил выше,[1] я в самый день отъезда из Петербурга в деревню сходил к Белинскому (я знал, где он жил, но не посещал его и всего два раза встретился с ним у знакомых), и не назвавшись, оставил его человеку один экземпляр. В деревне я пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных Записок», прочел в ней длинную статью Белинского о моей поэме. Он так благосклонно отозвался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше смущения, чем радости. Я не «мог поверить», и когда в Москве покойный Киреевский (И. В.) подошел ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего детища, утверждая, что сочинитель «Параши» не я. Возвратившись в Петербург, я, разумеется, отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву — жениться, а возвратившись оттуда поселился на даче в Лесном.[2]

---

1) В общем вступлении к «Литературным и житейским воспоминаниям».

2) Б—ий уехал в Москву на все лето—с июня по август. Свадьба его состоялась в Петербурге, 12 ноября 1843 г.

Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко мне.

Опишу его наружность. Известный литографический, едва ли не единственный портрет его дает о нем понятие неверное. Срисовывая его черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу, и потому придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть ли не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и нисколько не согласовалось с характером и обычаем Белинского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так-называемый habitus этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие, частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное

выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша».*) Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах, он, торопливо и неровной походкой, пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг—тот не мог составить себе верного о нем понятия, и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: «я только в лесу таких волков видывал, и то травленных!» Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; не даром в жилах его текла беспримесная кровь—принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы.

Белинский был, что̀ у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить

*) Стих Некрасова. (Прим. Тургенева).



В. Г. Белинский

Литографический портрет К. А. Горбунова 1843 г.

и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем на обум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы — эти люди вероятно удивились бы, если-б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что̀ он признавал за истину, в силу своих принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним, его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философические вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, что̀ могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе между прочим главные выводы и даже терминологию Гегелев-

ской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали;*) но уже Гёте сказал, что —

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewust...**)

а Белинский был именно ein guter Mann, — был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях выручал замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди.—Итак, когда я познакомился с Белинским, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слышал и сам употреблял не однажды, но в действительности и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он

---

*) Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «что разумно—то действительно, что действительно — то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения **не допустить.** Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель **не все существующее признает за действительное** — много бы умственной работы и томительных прений было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и в сущности значит только то, что «opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva»; т. е. опиум заставляет спать, по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер). (Прим. Тургенева).

**) «Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути». (Прим. Тургенева).

исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня, хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко.— «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, сказал он мне однажды с горьким упреком, а вы хотите есть!»... Сознаюсь, что написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеятся тому, кто сам бы слышал, ка̀к Белинский произнес эти слова, и если, при воспоминании об *этой* небоязни смешного, улыбка может придти на уста, то разве улыбка умиления и удивления...

Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался Гегелевской философией и был в состоянии пере-

дать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

Сведения Белинского были необширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сизмала, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из за куска хлеба, все это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные познания, хотя, например, русскую литературу, ее историю, он изучил основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в этом случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Белинский был тем, что̀ я позволю себе назвать центральной натурой; он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне и с хороших и с дурных его сторон. Ученый человек, не говорю, «образованный»—это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и

вероятно не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания, (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одной этой стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово: «последователь» уже предполагает возможность шествия по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но понимать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних их качествах и свойствах, но и в недостатках их: он тем самым глубже и больнее чувствует эти недостатки. Сенковский [1]) был не в пример ученее, не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современников; а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану, но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гадливость, его презрительное глумление, педантство, холод, все его особен-

1) Осип Иванович Сенковский (1800—1859)—писатель, редактор «Библиотеки для Чтения», ориенталист.

ности отчасти происходили от того, что у него, как у человека ученого, специалиста, и цели и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателей, а того, что̀ было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшой, невежественной братии — у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, втайне презирая их, как неучей; и они забавлялись им — и на грош ему не верили. Смею надеяться, что мне не станут приписывать желания защищать и как бы рекомендовать невежество: я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лессинг, для того, чтобы стать вождем *своего* поколения, полным представителем *своей* народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль — Германия, он был *германской центральной натурой*. Но Белинский, который до некоторой степени заслуживает названия русского Лессинга, Белинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Питта (лорда Чатама) с его сыном, В. Питтом — что за беда! «Мы все учились понемногу, чему-ни-

будь и как-нибудь»... Для того, что ему предстояло исполнить, он знал довольно. Огкуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если-б он на самом себе не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

Белинский, бесспорно, обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру — в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почин оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой—не подчинялся никаким влияниям и веяниям; но сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор — высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения. Кто бывал свидетелем критических ошибок, в которые впадали даже замечательные умы (стоит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское!») — тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и инстинктом Белинского, перед его уменьем «читать между строками». Не говорю уже

о статьях, в которых он отводил подобающее им место прежним деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством;*) но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести—никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров—не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без невольного удивления перед критической диагнозой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выноску, сделанную им в одном из своих годичных обозрений, в которой он, по одной песне о купце Калашникове, появившейся без подписи в «Литературной Газете», предрекал великую будущность автора. [1]) Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных Записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием: «Деревня», по времени первая попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй»—Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько изысканным—не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта—было несо-

*) См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине и т д. (Прим. Тургенева).

1) «Песня про купца Калашникова» Лермонтова была напечатана за подписью автора в «Литературных прибавлениях к «Русскому Инвалиду» за 1838 г.

мненно. Покойный И. И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек, уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни», и обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? 1) Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими—что́ он и сделал.

Не могу на этом месте не упомянуть кстати о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей. Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостоивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический; издатель, заключавший из этого тона, что ему хотят представить образчик

1) П. В. Анненков вспоминает, что «Деревню» Григоровича Б—ий встретил «чрезвычайно сочувственно» («Литературные воспоминания». стр. 444). См. также «Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича, изд. «Academia» стр. 159.

безвкусия или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению—и тот опять похваливал... Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то-и-дело меняющие свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем весьма выразительном лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика—он не мог изменить ей даже ради шутки, но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации. [1])

Другое замечательное качество Белинского, как критика, было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи,

1) «Издатель толстого журнала»—А. А. Краевский.

не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура, *) Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 г.)—подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! [1]) Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходит из круга чисто-литературной критики. Во-первых, при тогдашних оффициальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдо-классических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться

*) Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: «Ну, брат, какой же ты Кавур!» Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется!

(Прим. Тургенева).

1) Тургенев имеет в виду статьи Добролюбова об итальянских делах. Характеристике Кавура специально посвящены статьи: «Два графа» («Современник», 1860, кн. 12) и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» («Современник», 1861, кн. 7 и 8). Противопоставляя либеральному политику революционных деятелей Гарибальди и Гавацци, Добролюбов, по существу, сводил счеты с русским либерализмом и людьми 40-х годов.

вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные—и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным—в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал — и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы.*) Зато, как литературный критик, он был именно тем, что англичане называют — «the right man in the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти, Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выдти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника — на В. Н. Майкова, брата поэта; к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб не-

---

*) См. второе прибавление в конце отрывка. (Прим. Тургенева)

давно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев. [1])

Имя Писарева напоминает мне следующее: весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь—посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду.—«Вы,— начал я,—втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали нарочно, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю каррикатуру, — но преувеличение истины, каррикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал:

---

1) Валериан Николаевич Майков, заменивший по рекомендации Тургенева Б—го в «Отечественных Записках», утонул 1 июля 1847 г.

несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? уж точно по воробьям из пушки! Всего то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинениях стихов;— стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, обязанный прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное—должны обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский—тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною. [1])

Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения, не мешало его задушевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более, что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы наверное выбрал в политическо-развитом обществе. Что он чувствовал и что он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но что он делал, что он печатал — неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме эта страсть, которую он—

... во тьме ночной,
Вскормил слезами и тоской,

1) О двух свиданиях Тургенева с Д. И. Писаревым, состоявшихся между 4 и 7 марта 1867 г. на квартире В. П. Боткина, см. подробнее в статье: «Письма И. С. Тургенева к Д. И. Писареву», «Радуга». Альманах Пушкинского Дома, П. 1922.

прорвалась наружу — как тот огонь, о котором говорит Лермонтов. [1])

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом. Стараясь изобразить характер эпохи 30-х, 40-х годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминовение этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека; но это неизбежно).

«А между тем, как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно заражает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой, и народной эпопеей— в нашем обществе, в нашей литературе совершались, если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год), у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы—великое, вполне овладевшее собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными

1) Речь идет о знаменитом зальцбрунском письме Б—го к Гоголю.

провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно, даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто-внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого—и стóит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина.*) Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложно-величавой школой, продолжалось недолго, хотя отражения ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно-литературная художественная сфера, не прекратились и до сих пор. Оно продолжалось недолго—но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Совсем тем что-то неистинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества—и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличи-

*) Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно, приходят теперь на уста каждому читателю — имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюлова, Каратыгина и др. (Прим. Тургенева).

ванию России—во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался. Но не последние глубоко-художественные произведения Пушкина были причиною этого падения. Если бы даже они явились при его жизни—мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбитая с толку публика. Они не могли служить полемическим целям; они могли одержать и они одержали победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложно-величавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие более пронзительные силы—силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли—Белинский.

«... В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев), и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы оффициальным великаном

предстали—с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество услыхало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор,*) да темный малороссийский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»;—а с другой стороны, такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей, рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили—сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался и отнекивался)—идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, на зло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы—так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой

*) Прошу позволения привести слова одной тогдашней великосветской барыни, встретившей меня следующим восклицанием: Ayez—vous lu la «Douma?» Qui pouvait s'attendre à cela de part de Lermontoff! Lui qui venait de dire: «Я матерь Божия ноньче с молитвой! C'est affreux!» (Прим. Тургенева).

поэзии прошло так же, как и время ложно-величавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова: «наступило»— мы бы могли, вспомнив фон-Визина, Новикова, употребить слово: возвращалось. Подобные «возвратные» обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие еще более горькие разочарования в будущем—которые и сбылись*)—с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука Всевышнего»—исчезли, как мыльные пузыри; но и «Медным Всадником»—нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности восстала против фальши, против пошлости—а на какой ступени общества тогда не царила пошлость?—против того ложно-общего, неправедно-узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе личности»... И я продолжал так:

«Мы просим теперь у вас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увлечениях,

*) Трех лет ещѐ не прошло с Парижского мира 1856 г., когда я читал эти лекции. (Прим. Тургенева).

но смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь*), с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упомянули о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу—идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти—тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые славы, на к оторые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения»...

Быть может, некоторые читатели удивятся слову: «идеалист», которым я почел за нужное

*) Тогда только-что вышли первые томы полного издания его сочинений. (Прим. Тургенева).

охарактеризовать Белинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне—признаюсь в том—доставило не малое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед сборищем людей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией—западом, наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные, употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немыслимы. Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного западом—для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие

перуны.*) Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата—впрочем, относиться и к ним свободно, критически—вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот—разумеется не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы—вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся пред западом—значило не знать его вовсе; к тому же, не смирением грешат обыкновенно недоучки. Белинский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавал его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения—и следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие на-

---

*) Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта: «Петр Великий» и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —

Ряд изумленных поколений
Рукой могучей за собой. (Прим. Тургенева).

Стихотворение было напечатано без подписи в 7-й книжке «Отечественных Записок» 1842 г. Б—й восхищался им и в авторстве его подозревал Тургенева.

шего организма, подобное тому, каким оно является на западе. Дело Петра Великого было, точно, насилием, было тем, что в новейшее время получило название: coup d'état; но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доныне не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье—это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор, и должны были идти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), должны были идти другими путями, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья, всего русского, не изменили той русской струи, которая била во всем его существе—тому доказательством служит каждая его статья.*) Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Не признавая наших лже-классических, лже-народных авторитетов, ниспровергая их—он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не

---

*) См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове — и особенно его статьи о народных песнях и былинах. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных, они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества. (Прим. Тургенева).

ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно, и слушать его простое, несколько однообразное, но горячее и правдивое чтение какого-нибудь Пушкинского стихотворения или Лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже; да и голос его скоро ослабевал.

Еще одно замечательное качество Белинского, как критика, состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «in earnest»; он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою; а позднейшее, столь распространенное глумление он бы отвергнул, как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди, угадывай, разумей его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что̀ точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом «зубы скалит». Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину, и что смеющимся устам легче высказывать ее... Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однако же не прибегал он к глумлению, к «излюбленному» свистанию,

к зубоскальству. [1]) Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свистанием»—недалеко ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского... И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, склонность, к сожалению, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества почти так же противен—так же и вреден—как его злоба. Впрочем, Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, била не в бровь, а в глаз. И в разговоре так же, как и с пером в руке, он не блистал остроумием, не обладал тем, что̀ французы называют esprit, не ослеплял игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и, в конце-концов, увлекательно. При совершенном отсутствии того, что̀ обыкновенно величают элоквенцией—при явной неспособности и неохоте к «уснащиванию», к фразе—Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, напр., афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

Белинский, как известно, не был поклонником принципа: искусство для искусства;—да оно

---

1) Намек на отдел «Свистка» в «Современнике», в котором сотрудничал Н. А. Добролюбов

и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на—отсутствующего, разумеется—Пушкина за его два стиха в «Поэт и Чернь»—

Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!

— И конечно,—твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол,—конечно дороже.— Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю,—и прежде чем любоваться красотой истукана— будь он распрефидиасовский Аполлон — мое право, моя обязанность накормить своих—и себя, на зло всяким негодующим баричам и виршеплётам!»—Но Белинский был слишком умен— у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и самую его естественность, его физиологическую необходимость. Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой личности—один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни; не даром же он был идеалист. Все должно было служить одному принципу, искусство—так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом. Воистину детское и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражением природе, не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания;

а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы, как только мы возьмем человека сытого. 1) Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной правды.*) Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе. Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток, и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статья Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может заврâться человек, когда заберется не в свою сферу. Хор чертей в Роберте-Дьяволе был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа он подвывал басом этот дьявольский напев. Пение Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Все драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще

1) Намек на теорию искусства, развитую Н. Г. Чернышевским в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855).

*) См. первое прибавление в конце отрывка. (Прим. Тургенева).

о театре, дышат страстью; надо было видеть какое впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мочалова в Гамлете, о том, как он в известной сцене представления трагедии перед преступным королем произносил, задыхаясь от восторга и ненависти:

«Оленя ранили стрелой...»

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с мало знакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему про его комедию: «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе».[1]) Комедия эта, точно, весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов—к слезливо-нравственному, сентиментально - добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутым, мертвенным слогом... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия, да еще статья о Менцеле, были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем, значило

1) Комедия Б—го не пользовалась успехом в кружке. Анненков рассказывает о ней любопытный анекдот: «Однажды и уже через несколько лет после ее появления, когда Б—ий имел в литературе значительное имя и влияние, он был представлен где-то известному славянскому филологу — профессору И. Срезневскому, который с первого же слова объявил, что он не сочувствует его критической деятельности, но зато находит комедию его гениальной вещью. Б—ий затем уже никогда не мог вспомнить об этом отзыве без выражения безмерного изумления, как будто дело шло о чем-то совершенно невозможном и неестественном». («Замечательное десятилетие», стр. 262)

оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он признавал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье он видел ошибку— гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным влиянием нетерпения, тоскливого желания перейти из области недосягаемых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как-будто то, что существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедный Белинский, конечно, не имел понятия, что за птица был господин Менцель—и взялся за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения... В этом случае недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было как-то заговорил с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками, и, низко наклонясь вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем, он поболел квасным патриотизмом недолго. Вообще, лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с лихорадочным рвением пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так-называемые Schlagwörter. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений.*) Надо ж было и Белинскому заплатить

*) Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могло дойти тогдашнее философство-

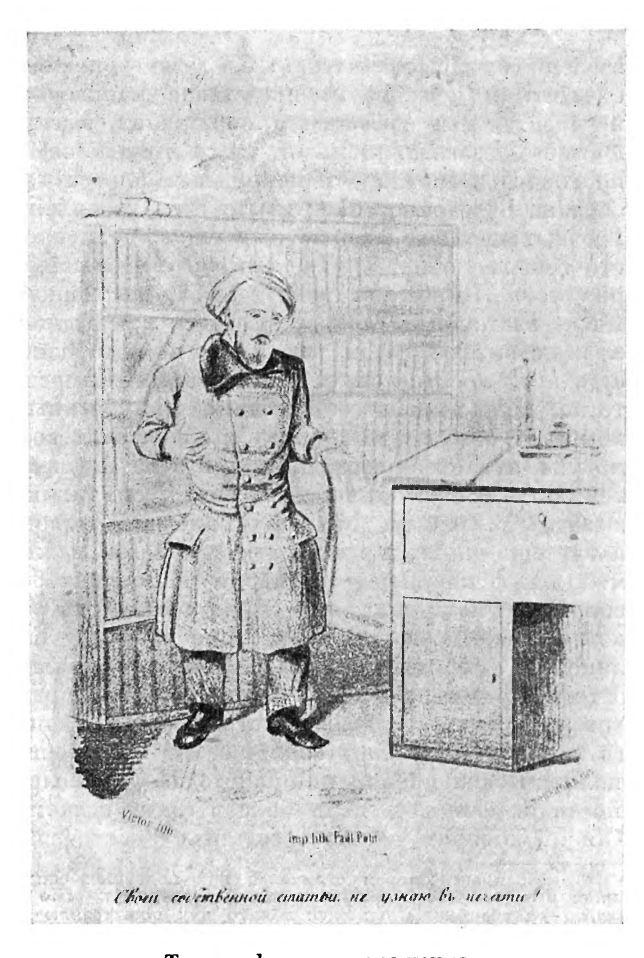
дань своему времени! Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным, круглым почерком. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все-таки оставались литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, в пухлые вариации на избитые темы—вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

Всем известно, какую обузу наваливал на Белинского расчетливый издатель журнала, в котором он участвовал. Какие сочинения не приходилось ему разбирать—и сонники, и поваренные и математические книги, в которых он

вание, отыскать в смеси одной из книжек «Отечественных Записок», за 40 или 41-й год, статейку, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем — в защиту выражения, употребленного Искандером, будто бы «Наполеон — кверху ногами поставленный Карл Великий», выражения, поднятого на смех другим журналом. Комизм тут тем более забавен, что весь проникнут угрюмой важностью и даже не подозревает, до какой степени он прелестен. (Прим. Тургенева).

ровно ничего не смыслил! За то, когда, после аккуратного выхода журнала в первое число месяца, наступало нескольке дней отдыха, как он наслаждался им, как предавался удовольствию бездействия, беседы с приятелями, а иногда и карточной игры в копеечный преферанс! Играл он плохо, но с тою же искренностью впечатлений, с тою же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним не в деньги—а так; он выигрывал и торжествовал... но вдруг обремизился, остался без четырех. Потемнел мой Белинский пуще осенней ночи, опустил голову как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния так было искренне на его лице, что я наконец не выдержал и воскликнул, что это уже ни на что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты!—«Нет, отвечал он глухо и взглянул на меня исподлобья:—«все кончено; я только до бубновой игры и жил!»—И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил.

Я часто ходил к нему после обеда отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже, на Фонтанке, недалеко от Аничкова моста — невеселые, довольно сырые комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешним молодым людям не приходилось испытывать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окро-



Типографские превращения

Каррикатура Степанова из „Иллюстрированного Альманаха“ 1848 г.

вавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унизительные объяснения, оправдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор*)... На улице тебе попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал и даже не начальник, а так просто генерал, оборвал или, что̀ еще хуже, поощрил тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так-называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно била в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-

*) Особенным юмором отличался при подобных свиданиях цензор Ф., тот самый, который говаривал: «Помилуйте — я все буквы оставлю: только дух повытравлю». — Он мне сказал, однажды, с чувством глядя мне в глаза: — «Вы хотите, чтоб я не вымарывал. Но посудите сами: я не вымараю — и могу лишиться 3000 рублей в год, а вымараю — кому от этого какая печаль? — Были словечки, нет словечек — ну, а дальше? — Как же мне не марать!? Бог с вами!» (Прим. Тургенева). Имеется в виду цензор А. И. Фрейганг.

литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно. При всей серьезности и действительной возвышенности своей натуры, Белинский поступал иногда как ребенок: услышит что-нибудь, что ему очень нравится, какое-нибудь место из Жорж-Занда или П. Леру — тогда он входил в моду и о нем таинственно (!) переписывались под именами Петра Рыжего — услышит и тотчас попросит списать ему это место и няньчится с ним. Но все это шло к нему; живой русский человек сказывался и тут. Иногда безделица его задевала. Однажды он целых шесть недель носил у себя в кармане книжку Гётевского «Западно-Восточного Дивана» (Westöstlicher Divan) вот по какому поводу. Я ему как-то цитировал оттуда стих: «Lebt man denn, wenn andre leben?» (Можно ль жить, когда живут другие?) Он повторил этот стих в укор эгоизму Гёте перед А. Н. С., [1]) некогда известным переводчиком Гётевских стихотворений; тот усомнился в точности цитаты и чуть ли не подтрунил над легковерностью Белинского. Вот он и выпросил у меня экземпляр «Дивана», и постоянно имел его с собою, чтобы при встрече поразить С...; но встречи этой, к великой досаде Белинского, не состоялось. В последние два года его жизни он, под влиянием все более и более развивавшейся болезни, стал очень нервозен и хандра на него находила.

---

1) А. Н. Струговщиковым.

Я виделся с Белинским в течение четырех зим — с 1843-го по 1846-й год, и особенно часто перед январем 1847-го года, когда я отправился надолго за границу и когда был основан «Современник», т. е. куплен у покойного П. А. Плетнева. История основания этого журнала представляет много поучительного... Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые дрязги. Довольно сказать, что Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и пополнялся в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для большого затеянного им альманаха. Белинский для «Современника» разорвал связь с «Отечественными Записками», а оказалось, что в новом журнале он, вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемщика, какое было за ним и в старом. У меня в руках находятся любопытные письма Белинского, относящиеся к этому времени: небольшие отрывки из них читатели найдут ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что он, после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельности, весьма скоро — и совершенно справедливо — охладел к ней; не мог же он поощрять меня в сочинении тех стихотворений и поэм, которым я тогда предавался. Впрочем, я скоро догадался сам, что не предстояло никакой надобности продолжать подобные упражнения — и возымел твердое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие

просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м нумере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым, с целью расположить читателя к снисхождению). Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе. Но читатель увидит из тех же писем Белинского, что он, хотя остался более доволен моими прозаическими работами, однако особенных надежд на меня не возлагал. Белинский с добродушным снисхождением, с сочувственным жаром поощрял начинавших писателей, в которых признавал талант, поддерживал их первые шаги; но он строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал и хвалил с одинаковым беспристрастием. Зато, на первых порах, он иногда доходил до нежности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему в руки «Бедные люди» г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг. — «Да, говорил он с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг: — да, батюшка, я вам доложу! — Не велика птичка — и тут он указывал рукою, чуть не на аршин от полу: — не велика птичка — а ноготок востер!» — Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом с г-м Достоевским — я увидал в нем человека, роста более среднего — во всяком случае выше самого Белинского! — Но в припадке отеческой нежности к ново-народившемуся таланту, Белинский относился к нему как к сыну, как к сво-

ему «дитятке». [1]) Точно так же он, летом 1843 года, когда я с ним познакомился — лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова... [2])

Как во всех людях с пылкой душою, во всех энтузиастах, в Белинском была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодованием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными. — Но его можно было «прошибить», как я сказал ему однажды, и чему он много смеялся; — истина была для него слишком дорога; он не мог окончательно упорствовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам, он всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли в разрез всему тому, что он любил и во что он верил. Вообще Белинский умел ненавидеть — he was a good hater — и всей душой презирал достой-

---

1) В журнальном тексте Тургенев сделал к этим строкам примечание, вошедшее в издания 1869 и 1874 гг.; но опущенное в 1880 г.: «Спешу предупредить читателя, который, пожалуй, на этом месте может подумать, что преувеличенный восторг, возбужденный в Белинском «Бедными людьми» — не является подтверждением той непогрешительности критического чутья, о которой я говорил. Должно признаться, что прославление свыше меры «Бедных людей» — было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинавшегося ослабления его организма. Впрочем, тут его подкупила теплая демократическая струйка».

2) В журнальном тексте и в двух последующих изданиях эти строки имели продолжение и читались так: «... выводил в люди господина (разрядка моя М. К.) Некрасова, который в то время еще нуждался в дружеской опоре, ибо еще не успел сделаться ни тем богатым человеком, ни тем официальным поэтом английского клуба, каким он стал впоследствии» (намек на стихотворение в честь гр. Муравьева, прочитанное Некрасовым на обеде в английском клубе).

ное презрения. Лейбниц где-то говорит, что он почти ничего не презирает (je ne méprise presque rien). — Это понятно и похвально — в философе, постоянно живущем на высотах духовного созерцания; но наш брат, человек обыкновенный, по земле ходящий, не в силах возноситься до этого бесстрастного холода, до этой величавой тишины; чувство презрения, которое внушают нам Фаддеи Булгарины, подтверждает и крепит наше нравственное сознание, нашу совесть. — В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нем и следа не было. — «Ну, врал же я чушь!» бывало, говаривал он с улыбкой — и какая это в нем была хорошая черта! Белинский был не слишком высокого мнения о самом себе и о своих способностях. Скромность его была непритворна и чистосердечна; слово: «скромность», впрочем, тут не годится: ему вовсе не было приятно, что он, по его понятию, такой некрупный человек; но ведь: «из своей кожи не выпрыгнешь!». За то ничего не было для него важнее и выше дела, за которое он стоял, мысль, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть — и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем — отвага отчаянная, на зло его физике и нервам; тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности — такая слабая, личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после.

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу. Я прожил с ним несколько недель в Зальцбрунне, небольшом силезском городке, славящемся своими водами, будто бы излечивающими чахотку... ему они принесли мало пользы. [1]) В Зальцбрунне он, под влиянием негодования, возбужденного в нем известной «Перепиской с друзьями» Гоголя, написал ему письмо... [2]) Потом я встретился с ним в Париже. Там он поступил в лечебницу к некоему доктору, специалисту против чахотки, по имени Тира де Мальмору. Многие считали его за шарлатана, но он совсем было поставил Белинского на ноги. Кашель прекратился, с лица сошла зелень... Слишком скорое возвращение в Петербург все уничтожило*). Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он был русский человек, и вне России замирал как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидал площадь Согласия, и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?» — И на мой утвер-

---

1) Б—ий выехал из Петербурга 5 мая 1847 г., 9 мая в Берлине он встретил Тургенева, совершившего с ним поездку до Зальцбрунна. В первой половине июля Тургенев уехал в Лондон, оставив Б—го с Анненковым. Подробнее об этом — в воспоминаниях Анненкова, стр. 534 и сл.

2) Зальцбрунское письмо к Гоголю было написано Б—им 8 июля 1847 г.

*) Вот еще пример того, как Белинский юмористически относился к самому себе. При отъезде из Парижа, ему дали провожатого, который должен был сопутствовать ему до Берлина; но в самую последнюю минуту вышло какое-то недоразумение, и Белинский отправился один. «Представьте мое положение, — писал он одному приятелю, в Париж: — на бельгийской границе меня о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю. К счастью, начальник таможни догадался должно быть, что я глуп до святости — и пропустил меня». (Прим. Тургенева).

дительный ответ воскликнул: «Ну, и отлично; так уж я и буду знать, — и в сторону, и баста!» и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: а! — и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе». Исторические сведения Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересоваться местами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, глазение, badauderie, было не в его характере. Музыка и живопись его, как уже сказано, трогали мало; а то, чем так сильно действует Париж на многих наших соотечественников, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и наконец, ему всего оставалось жить несколько месяцев... Он уже устал и охладел...

Не знаю, говорить ли об отношениях Белинского к женщинам? Сам он почти никогда не касался этого деликатного вопроса. Он вообще неохотно распространялся о самом себе, о своем прошедшем и т. п. Мне много раз случалось наводить его на этот разговор, но он всегда отклонял его; он словно стыдился, словно не понимал, что за охота толковать о личных дрязгах, когда существует столько предметов для беседы, более важных и полезных! Если же он касался своего прошедшего, то почти всегда с юмористической точки зрения: так, например,

он рассказал мне, как будучи удален из университета и не имея буквально чем жить, он взялся перевести роман Поль-де-Кока за 25 руб. ассиг., и каких он понаделал промахов! [1]) Бедность он, очевидно, испытал страшную, но никогда в последствии не услаждался ее расписыванием и размазыванием в кругу друзей, как то делают весьма часто люди, прошедшие эту тяжелую школу. [2]) В Белинском было слишком много целомудренного достоинства для подобных излияний, а может быть и слишком много гордости... Гордость и самолюбие — две вещи весьма различные.

По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозгу костей, и, конечно, это убеждение еще усиливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б-на; это было существо поэтическое, но она любила другого и притом она скоро умерла. [3]) Произошла также в жизни

1) За перевод «Монфермельской молочницы» (1832—1833) Б—ий рассчитывал получить сначала 300, потом 100 руб. Перевод напечатан не был.

2) Намек на Некрасова. часто рассказывавшего о своих бедствиях в первое время по приезде в Петербург.

3) Роман Б—го с младшей сестрой М. Бакунина, Александрой Александровной, завязался летом 1836 г. До того у него была какая-то история с «гризеткой», беглые упоминания о которой имеются в письмах.

Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней... он произвел на меня глубокое впечатление... но и тут дело кончилось ничем. Сердце его безмолвно и тихо истлело; он мог воскликнуть словами поэта:

> О небо! Если бы хоть раз
> Сей пламень развился по воле...
> И не томясь, не мучась боле,
> Я просиял бы и погас! [1])

Но мечты людские несбывчивы, а сожаленья — бесплодны. Кому не вынулся хороший нумер — щеголяй с пустым, да и не сказывай никому.

Не могу однако не упомянуть здесь, хотя мельком, о благородных, честных воззрениях Белинского на женщин вообще, и в особенности на русских женщин, на их положение, на их будущность, на их неотъемлемые права, на недостаточность их воспитания, словом, на то, что̀ теперь называют женским вопросом. Уважение к женщинам, признание их свободы, их не только семейного, но и общественного значения, сказываются у него всюду, где только он касается того вопроса, — правда, без той вызывающей крикливой бойкости, которая теперь в такой моде.

Не раз приходится слышать слова: такой-то во̀-время, кстати умер... Но ни к кому они так несомненно не применяются, как к Белинскому.

---

1) Заключительное четверостишие стихотворения «Как над горячею золой» Ф. Тютчева.

Да! он умер кстати и вò-время! Перед смертью (Белинский скончался в мае месяце 1848 года) он еще не успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд, и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии... От тяжких испытаний избавила его смерть. Притом же и физика его уже отказывалась действовать... К чему же было тянуть, медлить?

A struggle more — and I am free!*)

Все так; но живой живое думает и нельзя подавить в себе чувства сожаления о том из нас, кого уносит смерть в неведомый край, откуда «не возвратился еще ни один путешественник»... Я иногда невольно задаю себе вопрос, невольно представляю себе, чтò бы сказал, что бы почувствовал Белинский при виде великих реформ, совершонных нынешним царствованием — освобождения крестьян, водворения гласного суда и т. д.? Какой бы восторг возбудили в нем эти плодоносные начинания! Но он не дожил до них... Не дожил он также до того, что также наполнило бы сладостью его сердце: не увидал он много хорошего, что совершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как

*) Еще одно усилие — и я свободен! (Байрон). (Прим. Тургенева).

не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых многие были посеяны его рукою?.. Но видно — не следовало...

Окончу мои воспоминания о Белинском сообщением письма одной близкой ему дамы, которую я просил передать мне подробности его кончины (я находился тогда за границей в Париже), а также и нескольких отрывков из его писем ко мне.

Вот письмо дамы (от 23-го июня 1848 года):

«Вы хотите знать что-нибудь о Белинском... Но я не умею порядочно рассказывать, да и нечего почти говорить о человеке, который все последнее время весь был истощен физическими страданиями. Не могу выразить вам, как тяжело, как больно было смотреть на медленное разрушение этого бедного страдальца. Воротился он из Парижа в таком хорошем состоянии духа и здоровья, что все мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его выздоровление. Тут провел он у нас несколько утр и вечеров в непрерывном, живом, энергическом разговоре, и все с радостью узнавали в нем прежнего, довольно еще здорового Белинского; но странно, что с самого его возвращения из чужих краев нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде; даже в семейной жизни его нельзя было узнать, так он спокойно и, повидимому, без борьбы, мирился со всем тем, что прежде так сильно его волновало. Здоровое состояние его продолжалось недолго; он в Петер-

бурге скоро простудился, и тут с каждым днем его положение становилось безнадежнее, при каждом свидании с ним мы находили его страшно изменившимся, и казалось, что более похудеть ему уже нельзя, но, увидав его опять, находили еще страшнее. В последний раз я была у него за неделю до его смерти; застали мы его полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон, и встретил он нас словами: «умираю, совсем умираю»; но эти слова были выговорены не с убеждением, не с уверенностью, а скорее с желанием, чтобы его опровергли. Нечего вам говорить, какие тяжелые два часа провели мы тогда у него; говорить он, разумеется, не мог, но его даже уж и не занимали и не могли расшевелить рассказы о тех *предметах**), которыми он прежде жил. Слег он в постель дня за три до смерти, и, кажется, надеялся до тех пор, пока жива была в нем память; накануне он стал заговариваться, однако узнал Грановского, приехавшего в тот же день из Москвы. Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно передать эти слова, кому следует; но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать; потом он вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер. Бедная жена... не отходила от него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, поворачивала и поднимала его с постели.

---

*) Курсив в подлиннике. (Прим. Тургенева).



В. Г. Белинский (1848)

Эта женщина... право заслуживает всеообщее уважение; так усердно, с таким терпением, так безропотно ухаживала она за больным мужем всю зиму»...

Вот отрывки из писем Белинского ко мне:1)

С. Пб. $\frac{\text{19 февраля}}{\text{3 марта}}$ 1847.

«... Когда вы сбирались в путь, я знал наперед, чего лишаюсь в вас — но когда вы уехали, я увидел, что потерял в вас больше нежели думал... После вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучал, как никогда в жизни не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 или около 9 — и целый день — особенно целый вечер—(с после обеда) — дремлю — вот жизнь моя!

«...** [Панаев] получил от К[етче]ра ругательное письмо, но не показал ***[Некрасову] Последний ничего не знает, но догадывается, а делает все таки свое. При объяснении со мною, он был нехорош; кашлял, заикался, говорил, что на то, что я желаю, он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин — и сказал мои условия. Он повеселел, и теперь при свидании протягивает мне обе руки — видно, что доволен мною вполне! По тону моего

1) См. прим. в конце статьи.

письма вы можете ясно видеть, что я не в бещенстве и не в преувеличении. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него—за него, а не за себя. Мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком — а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю ***[Некрасова]; и тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат — а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня. Но довольно об этом.

«... Скажу как новость: я, может быть, буду в Силезии. Б[откин] достает мне 2.500 руб. асс. Я было начисто отказался — ибо с чем же я бы оставил семейство — а просить, чтоб мне выдавали жалованье за время отсутствия — мне не хотелось. Но после объяснения с ***[Некрасовым] я подумал, что церемониться глупо... Он был очень рад, он готов был сделать все, только бы я... Я написал к Б[откину], и теперь ответ его решит дело.

«Ваш «Каратаев» хорош, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»...

«... Мне кажется, у вас чисто-творческого таланта или нет — или очень мало — и ваш талант однороден с Далем. Это ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и Мельничиха» — не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в «Бреттёре» — я уверен, вы творили. Найти свою дорогу, узнать

свое место — в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не опираться только на фантазию... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни сё; не то чтоб не хорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение — лучшего не придумалось). А «Хорь» обещает в вас замечательного писателя — в будущем.

«... Гоголь сильно покаран общественным мнением и разруган во всех журналах; даже друзья его, московские славянофилы — и те отступились, если не от него, то от гнусной его книги»...

«Жена моя и все мои домашние, не исключая вашего крестника*) — кланяются вам»...

С.-П. 1 (13) марта 1847.

«...Скажу вам, что я почти переменил мое мнение на счет источника известных поступков *** [Некрасова]. Мне теперь кажется, что он действовал добросовестно, основываясь на объективном праве—а до понятия о другом, высшем, он еще не дорос—а приобрести его не мог по причине того, что вырос в грязной положительности, и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу—из

---

*) Я был крестным отцом его сына. (Прим. Тургенева).

Владимир Белинский, родившийся 26 ноября 1846 г., умер в конце марта 1847 г.

его примера—как этот идеализм и романтизм может быть полезен для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они—этот идеализм и романтизм, но что за дело человеку, что ему помогло дурное на вкус лекарство, даже и тогда, если, избавив его от смертной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни; главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло»...

«Поездка моя в Силезию решена. Этим я обязан Боткину. Он нашел средство и протолкал меня. Нет, никогда я не хлопотал и никогда не буду хлопотать так о себе, как он хлопотал обо мне. Сколько писем написал он, по этому предмету, ко мне, к А[нненко]ву, к Г[ерце]ну, к брату своему, сколько разговоров, толков имел то с тем, то с другим! Недавно получил он ответ А[нненко]ва и прислал его мне. А[нненко]в дает мне 400 франков. Вы знаете, что это человек порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач—и по себе знаете, что за границей во всякое время 400 фр.—по крайней мере—не лишние деньги. Но это еще ничего—этого я всегда ожидал от А[нненко]ва, а вот что тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: *для меня*, этот человек изменяет план своего путешествия, не едет в Грецию и Константинополь—а едет в Силезию! От этого, я вам скажу, можно даже сконфузиться—и если б я не знал, не чувствовал глубоко, как сильно и много люблю я А[нненко]ва, мне было бы досадно и неприятно такое происшествие. Отправиться я думаю на первом пароходе»...

С.-Пб. 12 (24) апреля 1847.

«Пишу к вам несколько строк, мой любезный Т. Вскоре по получении вашего второго ко мне письма, в котором вы изъявляете свое удовольствие о здоровье моего сына—он умер. Это меня уходило страшно. Я не живу—а умираю медленною смертью. Но к делу. Я взял билет на Штеттинский пароход; он отходит 4 (16) мая»...

9 (21) мая я свиделся с Белинским в Штеттине[1]), куда я выехал к нему навстречу. Мне писали из Петербурга, что смерть трехмесячного сына поразила его несказанно. Году не прошло, и он последовал за ним в могилу.

И вот уже двадцать лет слишком прошло с тех пор—и я вызвал дорогую тень... Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа; но я уже доволен тем, что он побыл со мной, в моем воспоминании...

Человек он был!

1868.

Первое прибавление

Я получил от А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о Белинском, появившейся, как известно, в «Вестнике Европы». Помещаю здесь отрывок из этого письма. В нем почтенный автор, мнение которого в деле истории литературы и критики пользуется справедливым уважением и весом, до некоторой степени, пополняет мои воззрения.

---

[1]) Тургенев ошибается: предполагавшаяся встреча его с Б—м в Штетине не состоялась. Ср. «Письма» Б—го, т. III, стр. 210—211 и 371.

— «Что касается до каких-либо ошибок в литературных суждениях или в фактах—то я не встретил ни единой. Могу лишь указать на одну, по моему мнению, неточность. Вы говорите, что Белинский, ценя искусство как особую, совершенно естественную и законную сферу духовной деятельности человека, не был поклонником теории искусства для искусства, и в доказательство приводите его отзыв о стихотворении Пушкина: «Чернь». Мне кажется, это не совсем так, по крайней мере, в хронологическом отношении. Отзыв принадлежит ко времени вашего знакомства с Белинским. До этого времени (до 1843-го г.) он уже работал и в «Молве» с «Телескопом» и в «Наблюдателе» и в «Отечественных Записках». Из некоторых критических статей его, здесь помещенных (особенно в «Наблюдателе»)—видно, что он признавал справедливость знаменитой формулы: цель искусства—само искусство. За что же он и напал так сильно на Менцеля (в «Отечественных Записках»), как не за то, что Менцель, в своей «Истории Немецкой Литературы», подчинял эту последнюю целям, лежащим вне литературной области, требовал от нее служения политическим, гражданским, и иным видам, и с этой точки зрения преследовал Гёте, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашел к нему, он с искренним пафосом показывал мне портреты Гегеля и Гёте, как высших представителей чистой мысли и чистого искусства».

За сим А. Д. Галахов, в подкрепление слов своих, приводит место из недавно вышедшего

труда А. Станкевича: «Т. Н. Грановский» (стр. 114—115).

Очевидно, что я должен был сделать оговорку. Когда я познакомился с Белинским, мнения его были точно такие, какими я их представил: он изменил их незадолго перед тем. Политическая струя в нем снова забила сильнее.

Второе прибавление

А. Н. Пыпин, в известной своей биографии Белинского, оспаривает мое воззрение на то, что я назвал неполитическим в темпераменте Белинского—и видит в его «сдержанности» одну неизбежную уступку особым условиям того времени.—Я готов согласиться с почтенным ученым: весьма вероятно, что оценка г-ном Пыпиным *этой* стороны характера нашего великого критика—вернее моей—о чем долгом считаю объясниться перед читателями. Тот «огонь», о котором я упомянул, никогда не угасал в нем, хотя не всегда мог вырваться наружу.

Париж. Сентябрь 1879.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Воспоминания о Белинском», появившиеся первоначально в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1869 г. и включенные затем в I том Салаевского издания «Сочинений И. С. Тургенева» того же года, нельзя назвать бесстрастными литературными мемуарами, это была резкая полемическая статья, в ко-

торой автор ее сводил счеты со своими литературными противниками слева и справа. Среди ряда тщательно выписанных картин бытовой обстановки и интимной жизни давно отошедшего критика мелькают вполне злободневные анекдоты о Краевском, выпады по адресу Некрасова и Достоевского, намеки на деятельность Добролюбова и Чернышевского. Характерно письмо Тургенева Анненкову, при котором он послал только что оконченную статью: «Не знаю, как она вышла, но я писал ее старательно, два раза все переписал и умиление испытывал не малое... Пришли и стали воспоминания... Сумел ли я схватить физиономию нашего покойного друга—вы лучше меня можете судить об этом.» А вслед за этими строками ряд оговорок, вызванных беспокойством, как бы не в меру осторожный литературный советник, не вычеркнул самые злободневные строки: «Непременно при имени Некрасова ставить слово: «господин» .. «P. S. Пожалуйста, сохраните упоминовение об английском клубе при имени господина Некрасова»... (Письмо от 21 (9) февр. 1869 г., «Русск. Обозрение», 1894, кн. 3, стр. 21—22). Современная критика разом же учла злободневность статьи Тургенева. Анонимный автор «Критических заметок о текущей литературе» (вероятно, Н. Н. Страхов) отметил это, как характерную черту «Воспоминаний»: «...память Белинского была употреблена, как полемическое орудие, которым враждующие старались уязвить друг друга. Орудие было направлено против двух редакторов, у которых работал Белинский, против г. Краевского и г. Некрасова». («Заря», 1869, кн. 9, стр. 207). Дело заключалось, разумеется, не в личных выпадах против Краевского или Некрасова, не в личной неприязни Тургенева к Достоевскому или Чернышевскому, а в чем то другом, менее случайном. При ускорившимся в конце 50-х — начале 60-х годов темпе процесса общественной дифференциации мирное сосуществование различных группировок «западников» стало невозможным. Прогрессивно настроенные в 40-х годах писатели-дворяне примкнули частью к бурно организовывавшемуся движению разночинцев, частью были отброшены далеко назад в лагерь консерваторов, а частью остались на перепутьи, не находя ни одной общественной группы, с которой они

могли бы солидаризироваться. Позднее они примкнули к либеральной буржуазии, но в конце 60-х годов они не могли найти опоры и здесь, так как русская буржуазия, удовлетворенная в своих основных требованиях, не проявляла общественной активности. На перепутьи оказался и Тургенев, не угодивший ни отцам, ни детям, яростно обстреливаемый с обеих сторон. То, что казалось ему странным недоразумением в литературной судьбе романа «Отцы и дети», повторилось, уже не так неожиданно для автора, с романом «Дым». Для продолжения литературной деятельности Тургеневу нужна была какая-то опора, нужно было убедительное оправдание своей позиции. В «Воспоминаниях о Белинском» Тургенев пытался свести свое собственное литературное credo к «лучшим» традициям 40-х годов, противопоставив авторитет популярного критика мало симпатичным ему литературным и общественным тенденциям радикальной журналистики. Так и было понято выступление Тургенева современниками. Чрезвычайно любопытна в этом отношении ядовитая статья в «Космосе»: «Белинский употреблен... собственно как светлый фон для контраста, чтобы мрачнее выступила картина, которую хотел набросать на нем г. Тургенев. «Воспоминания о Белинском»... вызывают факты, выгодные для либеральной славы г. Тургенева и представляют рассуждения из которых должно следовать, что люди низведшие его с пьедестала были люди недостойные, ничтожные, просто нули в сравнении с Белинским, и, стало быть, низведение его совершенное ими ничтожно, не действительно, non avenue. Из воспоминаний мы узнаем, что г. Тургенев не кто нибудь. не какой нибудь обыкновенный писатель, а воспитанник школы Белинского, его любимейший ученик, что г. Тургенев остался верен духу Белинского» («Космос», 1869 г. Приложение № 1, стр. 94—95). Воспоминания Тургенева приобретают, в связи с этим, особый интерес. Заключая в себе ценные сведения о Белинском, они выясняют одновременно общественную позицию, занятую их автором.

«Воспоминания о Белинском» были в последний раз отредактированы Тургеневым в собрании сочинений 1880 г. этот текст и дается в настоящем издании.

Несколько крупных и характерных разночтений, сравнительно с журнальной версией, приведено в подстрочных примечаниях.

(К стр. 258). Письма Белинского, приведены Тургеневым в извлечениях и с небольшими стилистическими поправками (полностью напечатаны в 3-м томе «Писем», стр. 177—181, 188—193, 199—200). Сокращению подверглись отзывы Белинского о первых рассказах «Записок Охотника» и общая оценка литературной деятельности их автора. Приводим целиком соответствующее место письма, выделяя курсивом всё измененное Тургеневым:

«Ваш «*Русак*» — *чудо, как хорош, удивителен,* хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча». *Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч». Это общий голос. «Русак» тоже всем нравится очень.* Мне кажется, у вас чисто-творческого таланта или нет или очень мало, и ваш талант однороден с Далем. *Судя по «Хорю», вы далеко пойдете.* Это ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и Мельничиха»—не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслью. А в «Бретёре», я уверен, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию; но не опираться только на фантазию. *Еще раз не только «Хорь», но и «Русак» обещает в вас замечательного писателя в будущем.* Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то, ни се, не то, чтобы не хорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение— лучшего не придумалось). А «Хорь» *вас высоко поднял, говорю это не как мое мнение, а как общий приговор».*

Цитируя письмо, Тургенев заменил названием рассказа «Каратаев» загадочное «Русак» — это последнее название помянуто в перечне рассказов «Записок Охотника» в рукописи первой редакции «Притынного кабачка». Н. Л. Бродский, не решая категорически вопроса, высказывает предположение, что это мог быть один из четырех очерков, рассказанных Тургеневым К. К. Слу-

чевскому, П. В. Анненкову и С. С. Дудышкину (Н. Л. Бродский «Новое о Тургеневе», «Тургенев и его время. Первый сборник», 1923, стр. 312 — 314). Как видно из произведенной Тургеневым замены в письме Белинского, «Русак» был первоначальным заглавием очерка «П. П. Каратаев», напечатаного во 2-ой книжке« Современника» за 1847 г. В тексте рассказа герой рекомендуется типичным «русаком»: «такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями...»

Не меньшей переработке подверглись письма в части суждений Белинского о Некрасове. Публикуя эти отрывки, Тургенев «разоблачал» редактора «Современника» в утеснении Белинского. Когда Панаев и Некрасов, летом 1846 г., приобрели у Плетнева «Современник», сам Белинский и его друзья предполагали, что он войдет дольщиком в журнал, а не «наемником». Получив предложение сотрудничать на обычных условиях, Белинский был возмущен, несмотря на предложенный высокий гонорар. Отрывки писем с выражением неудовольствия Некрасовым Тургенев и опубликовал, обосновывая свое обвинение, что «Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него», но опустил при этом часть второго письма, которая могла бы смягчить впечатление от чтения первой его половины. Характерно также, что в отрывках пропущены одобрительные отзывы о литературной деятельности Некрасова.

Сохранилось четыре черновых наброска писем Некрасова к М. Е. Салтыкову, в которых он объяснял свое поведение относительно Белинского интересами самого критика и только что созданного журнала. (Подробнее об этом см. в статье В. Евгеньева-Максимова: «Н. А. Некрасов и его современники», «Красная Новь», 1928, кн. I, стр. 168—182).

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение—«С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом.[1]) Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится,—заметил я между прочим,—что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука,—засмеялся Герцен.—Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.» (Вошла в собрание его сочинений). В этой статье господин А. т. е., разумеется, сам Белинский—выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда

---

1) А. И. Герцен, «Заря», 1870 г., № 2

он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо то хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал!

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил.[1]) Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно, потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего,— тип, явившийся только в России, и который нигде, кроме России, не мог явиться...

— Белинский... напротив, Белинский был вовсе не gentilhomme,—о, нет. (Он, бог знает, от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем).

Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом,

1) В мае 1845 г.

Ф. М. Достоевский



Ф. М. Достоевский

почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); [1]) но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма.

В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интерналка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «мы, прежде всего, общество атеистическое», т. е., начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему—начала нравственные. В новые нравственные основы социализма он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг.

---

1) Восторженно приняв роман «Бедные люди», называя его в разговорах с Достоевским гениальной вещью, Белинский в печатных отзывах был сдержаннее, а к следующим рассказам, «Двойнику» и «Господину Прохарчину» отнесся отрицательно. Это обидело Достоевского и повело к взаимному охлаждению, тем более, что кружок, группировавшийся вокруг Белинского, поднял настоящую травлю на Достоевского, болезненно воспринявшего свой первый, неожиданный и блестящий успех.

Но как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности — он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен). Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, — восстановляет ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами, но все таки, оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Vie de Jèsus», что Христос, все таки, есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый,

которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да, знаете ли вы,—взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне:—знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него,—прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня:—каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да, поверьте же, наивный вы человек,—набросился он опять на меня:—поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества...

— Ну, не-е-ет!—подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате).—Ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его.

— Ну—да, ну—да,—вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский.—Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. О них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся—Фейербах. [1]) (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах). О Штраусе говорилось с благоговением. [2])

При такой теплой вере в свою идею, это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь

---

1) Анненков рассказывает: «Для Б—го собственно был сделан в Петербурге, одним из приятелей, перевод нескольких глав и важнейших мест из книги Фейербаха — и он мог, так сказать, осязательно познакомиться с процессом критики, опрокидывавшей его старые мистические и философские идолы. Нужно ли прибавлять, что Б—ий был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался». (Анненков, стр. 431).

2) Штраус, Давид Фридрих (1808—1874). Сразу создал себе громкую известность сочинением «Жизнь Христа» (1835).

маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии, или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гегг, на побегушках по какому нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода,—не от сомнений, не от разочарований, о, нет,—а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его, часа в три пополудни, у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце. [1])

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот, как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня не взлюбил, но я страстно

1) Постройка Николаевской железной дороги началась в 1843 г.

принял тогда все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы, в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили евангелием—единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а, стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными» и слышал это название множество раз из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа, звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

...Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных Записок». Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен и—он сам говорил мне—видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит о тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее,—из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не напи-

сал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «принесите рукопись» (сам он еще не читал ее): «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных Записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и—«осмеет он моих «Бедных людей»!—думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами—«неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью,—все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых Душах» и читали их в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «а не почитать ли нам, господа, Гоголя!»—садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую

как днем, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента,—передавал мне потом уже наедине Григорович,—и вдруг я вижу в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то. И этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь: говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитируя из «Ревизора» и из «Мерт-

вых Душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите,— да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!»—восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное—чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего не написал такого размера, как удалось ему вскоре через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с 16-ти лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно.

«Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми».— «У вас Гоголи-то, как грибы растут», строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Бе-

линский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб: я представлял его себе почему-то совсем другим,—«этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, [1] а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению,—что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник—ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на не-

1) Достоевскому было в момент знакомства с В—м не 22, а 23 года.

счастье за собой не смеет признать и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей—он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», не «его превосходительство», а «их превосходительство» как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки,—да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена, как художнику, досталась, как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»...

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим другим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель). «И неужели вправду я так велик»,

стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда—разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, «они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о, к ним, с ними!»

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом.

. . . .

В литературе нашей есть одно слово: «стушеваться», всеми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее; при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось никем. Теперь же его можно найти не только у литераторов, у беллетристов, во всех смыслах, с самого шутливого и до серьезнейшего, но можно найти и в научных трактатах, в диссертациях, в философских книгах: мало того, можно найти в деловых департаментских бумагах, в рапортах, в отчетах, в приказах даже: всем оно известно, все его понимают, все упо-

требляют. И, однако, во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек—я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз—я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 г., в «Отечественных Записках», в повести моей: «Двойник, приключения господина Голядкина».

Первая повесть моя «Бедные люди» была начата мною в 1844 г., была окончена, стала известна Белинскому и была принята Некрасовым для его альманаха «Петербургский Сборник» в 1845 г. Вышел этот альманах в конце 45-го года. [1]) Но в этом же 1845 г. я и начал, летом, уже после знакомства с Белинским, эту вторую мою повесть: «Двойник, приключения господина Голядкина». Белинский, с самого начала осени 45-го г., очень интересовался этой новой моей работой. Он повестил о ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту новую повесть «Двойник» я, по окончании, дам ему в «Отечественные Записки» для первых месяцев наступающего 46-го года. Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет пятнадцать спустя, для тогдаш-

---

1) «Петербургский Сборник» Некрасова вышел 15 января 1846 г.

него «Общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что это вещь совсем неудавшаяся, и если бы я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46 м г. этой формы я не нашел и повести не осилил.

Тем не менее, кажется, в начале декабря 45-го г., Белинский настоял, чтоб я прочел у него хоть две—три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей». Ну вот тут то, на этом чтении, и употреблено было мною, в первый раз, слово «стушеваться», столь потом распространившееся. Повесть все забыли, она и стоит того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили в литературе.

Слово «стушеваться» значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю, с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, на нет. Должно быть в «Двойнике» это словцо было мною употреблено удачно в тех первых же трех главах,

которые я прочел у Белинского, при изображении того, как умел кстати исчезнуть со сцены один досадный и хитренький человечек (или в роде того, я забыл). Потому так говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумения в слушателях, напротив, всеми было вдруг понято и отмечено. Белинский прервал меня именно с тем, чтобы похвалить выражение. Все слушавшие тогда (все и теперь живы) тоже похвалили. Очень помню, что похвалил и Иван Сергеевич Тургенев (он верно теперь позабыл). Хвалил потом и Андрей Александрович Краевский. Кроме этих существуют и еще лица, которые, я думаю, могут припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новым словцом. Но принялось оно и вошло в литературу не сейчас, а весьма постепенно и неприметно. Помню, что выйдя, в 1854 году, в Сибири из острога, я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу («Записки Охотника», едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом и вынес упоительное впечатление. Правда, тогда надо мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода!)—и так, начав перечитывать, я был даже удивлен, как часто стало мне встречаться слово «стушеваться». Потом в шестидесятых годах, оно уже совершенно освоилось в литературе, а теперь, повторяю я, даже в деловых бумагах, публикуемых в газетах, его встречаю, и даже в ученых диссертациях. И употребляется оно, именно, в том смысле, в котором я в первый раз его употребил.

ПРИМЕЧАНИЯ

Летом 1867 г. Ф. М. Достоевский работал над статьей «Знакомство мое с Белинским», заказанной ему его бывшим сотрудником по журналам «Время» и «Эпоха» К. И. Бабиковым для предположенного сборника «Чаша». В середине сентября, в Женеве, Достоевский закончил статью и послал ее А. Н. Майкову для передачи книгопродавцу Базунову. Достоевский остался своей работой недоволен:

«Штука была в том, что я сдуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать и сейчас увидал, что возможности нет написать ц е н з у р н о (потому что я хотел писать всё). 10 листов романа было бы легче написать, чем эти 2 листа! Из всего этого вышло, что эту распроклятую статью я написал, если все считать в сложности, раз п я т ь, и потом все перекрещивал и из написанного опять переделывал. Наконец, кое как вывел статью, — но до того дрянная, что из души воротит. Сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть! Как и следовало ожидать, осталось все самое дрянное и золото-серединное. Мерзость!» (Письмо А. Н. Майкову, 15 сент. 1867 г. «Биография, письма и заметки Ф. М. Достоевского». Спб. 1889, стр. 178).

Приговор автора был, вероятно, чрезмерно суров. А. Г. Достоевская называет эту статью талантливой и сообщает, что А. Н. Майков очень хвалил ее в одном из своих писем Ф. М. («Письма Ф. М. Достоевского к жене», 1926, стр. 313—314). К сожалению, эти воспоминания Достоевского о Белинском до нас не дошли: сборник не состоялся, К. И. Бабиков вскоре умер, а Базунов, «за множеством дел» забыл, куда девалась рукопись...

Печатаемые в настоящем издании страницы из «Дневника писателя» не могут заместить утраченной статьи—в них нет единства, они противоречивы, если не в фактических сообщениях, то в выраженном в них

отношении к деятельности критика. Дело в том, что отношение Достоевского к памяти Белинского с годами изменялось. В начале 60-х годов Достоевский отзывался о Белинском сочувственно (напр., в письме к вдове критика Марии Васильевне он писал: «Я до того любил и уважал вашего незабвенного мужа и вместе с тем мне так приятно было припомнить все то лучшее время моей жизни, что я от души мысленно было поблагодарил вас за то, что вам вздумалось написать ко мне». «Биография, письма и заметки Ф. М. Достоевского», стр. 26). К концу 60-х годов отношение изменилось, 1871 годом датируются самые резкие отзывы о Белинском в письмах к Н. Н. Страхову («это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни»— 18 (30) мая 1871, «Биография, письма и заметки Ф. М. Достоевского» стр. 312). К 1876 г. взгляды Достоевского на Белинского вновь изменились в благоприятную сторону. Эти колебания неизбежно отразились на характере записей в «Дневнике писателя»—отсюда их противоречивость.

Вопросу об отношениях обоих писателей посвящена статья С. Ашевского «Достоевский и Белинский», «Мир божий», 1904, кн. I, стр. 197—239. Восторженная встреча Белинским романа «Бедные люди» и отношения Достоевского к кружку петербургских писателей послужили материалом для неконченного рассказа Некрасова «Каменное сердце»; во вступительной статье к нему К. И. Чуковский собрал весь относящийся к этому эпизоду богатый мемуарный материал (Н. Некрасов. Тонкий человек. Изд. «Федерация» М. 1928). Следует еще отметить, что в главе 5-ой и 6-ой первой части романа «Униженные и оскорбленные» заходит речь о Белинском—«критике Б».

В настоящем издании перепечатаны конец первой и часть второй главы «Дневника писателя» за 1873 г., часть 3-го отрывка главы второй за январь 1877 г. и главы первой за ноябрь 1877 г. (История глагола стушеваться).

И. А. ГОНЧАРОВ

ЗАМЕТКИ О ЛИЧНОСТИ БЕЛИНСКОГО

На мой взгляд это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам.*)

Такие натуры встречаются нередко—я их наблюдал везде, где они попадались: и в своих товарищах по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдал и в самом себе—и во множестве экземпляров — и во всех находил неизбежные родовые сходственные черты, часто рядом с поразительными несходствами, составлявшими особенности видов или индивидумов. Все эти наблюдения привели меня к фигуре Райского в романе «Обрыв», этой жертве своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цель фантазии. Последняя была в нем праздною, бесполезною силой, и, без строгой его подготовки к какому бы то ни было делу, разрешалась у него только в бесплодных порывах к деятельности и уродовала самую его жизнь.

---

*) Эти заметки извлечены из письма, писанного в 1874 г., к А. Н. Пыпину, по случаю собирания им сведений от знавших лично Белинского, для биографии последнего. (Прим. Гончарова).

Но другие, богато одаренные натуры, став твердой ногой на почве своего призвания, подчиняют фантазию сознательной силе ума и создают целую сферу производительной деятельности. Так было и с Белинским.

Но напрасно приписывать избыток фантазии и восприимчивости только художническим натурам. Не одним художникам нужно творчество: это я говорю вопреки мнению Белинского или, по крайней мере вопреки его словам, не раз слышанным мною от него, что «Бог дал человеку быть творцом только в искусстве».

Тут есть нечто недосказанное. Совершенно справедливо, что в искусстве художник создает или изобретает сходства и подобия, т. е. образы существующего или возможного в природе, а в сфере знания ученый только угадывает или открывает скрытые законы или готовые истины. Но, сколько мне кажется, в процессах самого этого угадывания или этих открытий действуют также изобретательные или творческие силы и приемы. Не один Ньютон наблюдал падающие с дерева яблоки и не один Фультон видел, как привскакивает крышка на чайнике от пара— однако не угадывали же другие законов тяготения или парового движения,—следовательно и тот и другой были как бы творцы этих законов.

Таким образом нервозность, т. е. тонкие и чуткие нервы, а вследствие этого впечатлительность в помощь фантазии присущи, как необходимый элемент, всякой работе, требующей инициативы мысли и изобретательной производительности, не говоря уже о науке, искусстве, но даже в ремеслах, чему мы видим не мало



И. А. Гончаров

примеров. Талантливый ремесленник, с помощью этой же фантазии, делает новые, смелые шаги в ремесле, а иногда возводит его на степень искусства.

Чуткость нерв и фантазия в художниках (живописцах, поэтах, актерах) только разнообразнее и капризнее проявляется, по самому свойству и натуре их дела, по образу жизни и прочим условиям.

И Белинский в сфере своей деятельности также творил по своему, т. е. угадывал смысл явления, чуял в нем правду или ложь, определял характер его, и если явление представляло пищу увлечению, он доверчиво увлекался сам и увлекал других. Пережив впечатление в самом себе, истратив на него потоки более или менее горячих печатных или изустных импровизаций, он потом оставался ему верен уже в той доле правды, не какую он видел в пылу увлечения, а какая действительно была в нем—и относился к нему умереннее.

Наконец, у него были постоянные увлечения или влечения, плоды не одной только фантазии, или напряженной работы непрерывного умственного развития; они составляли основу его честной и прямой натуры. Это влечения к идеалам свободы, правды, добра, человечности, при чем он нередко ссылался на евангелие—и не помню где,—даже печатно. Этим идеалам он не изменял конечно никогда, и на всякого, сколько нибудь близкого ему человека, смотрел не иначе, как на своего единомышленника, иногда не давая себе труда всмотреться, действительно ли это было так. Никаких уклонений от этих путевод-

ных своих начал он ни в ком не допускал и не простил бы никому иного исповедания в нравственных, политических или социальных взглядах, кроме тех, какие принимал и проповедывал сам, разумеется в теории, ибо на практике это было неприменимо в то время нигде, кроме робкого проговариванья или намеков в статьях, да толков в тесном кругу друзей.

В стремлении или в порывах, повторяю бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим последним идеалам особенно высказывалось его горячее нетерпение, иногда до ребячества. В тумане новой какой-нибудь идеи, даже в роде идей Фурье, например (о чем могут больше меня сказать знавшие его смолода), если в ней только искрился намек на истину, на прогресс, на что нибудь, что казалось ему разумным или честным, перед ним возникал уже определенный образ ее; нарождавшаяся ипотеза становилась его религией;—он веровал в идеал в пеленках, не думая подозревать тут какого-нибудь обольщения, заблуждения или замаскированной лжи. Он видел только одну светлую сторону. Так, всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и новый у нас слух и говор о коммунизме, он наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: «Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, но будь у меня миллионы, я отдал бы их!»—Кому, куда отдал бы? В коммуну, для коммуны, на коммуну? Любопытно было бы спросить, в какую кружку положил бы он эти миллионы, когда одно какое-то смутное понятие носилось в воздухе, кое-как перескочившее к нам

через границу, и когда самое название «коммуны» было еще для многих ново. А он готов был класть в кружку миллионы—и положил бы, если б они были у него и если б была кружка! Он только слышал о коммунизме: книг негде было взять—но конечно он скорее других почерпнул из рассказов одну мечту, манившую к соблазнительным благам.[1])

Он мчался вперед и никогда не оглядывался. Прошлое для него отживало почти без следа, лишь только оно кончалось. По свойственному его натуре чувству справедливости, он, конечно, сумел бы найти и полюбить, например, в славянофильстве, что было в нем искреннего и правдивого, но довольно того, что славянофилы хотели создавать новый строй русской жизни на старом, хотя и хорошем фундаменте, чтобы уж безусловно разойтись с ними, смотреть на них, если не враждебно, то недоверчиво. Он иногда не только терпел около себя людей довольно ограниченных, но любил с ними беседовать, когда между ними ничего не было общего, кроме веры в одну какую—нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую в даль, к отдаленному, часто недостижимому идеалу.

---

1) Глубокий интерес к социализму начал у Б—го проявляться вскоре после окончания периода «примирения с разумной действительностью». Уже 8 сент. 1841 г. писал он В. П. Боткину: «... Я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию». («Письма», т. III, стр. 262). См. об этом вступительную статью П. Н. Сакулина в сборнике «Социализм Белинского», М. 1924.

О чем они могли говорить с Белинским подолгу — понять было трудно. Это объяснялось между прочим трогательною, почти детскою снисходительностью Белинского к своим приятелям и ко всему, что их составляло, что им принадлежало. Возбудить его против себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться с ним, как сказано выше, в коренных убеждениях, и то, если б это обнаружилось как нибудь на практике, в жизни— а затем, будь приятель его чем хочешь, он не терял права на его дружелюбие, однажды приобретенное, особенно, если еще это выкупалось чем нибудь, например, талантом или просто даже безмолвным сочувствием его идеям и идеалам.

Ни в ком никогда не замечал я, чтобы самолюбие проявлялось так тонко, скромно и умно, как в Белинском. Он не мог не замечать действия своей силы в обществе—и, конечно, дорожил этим: но надо было пристально вглядываться в него, чтобы ловить и угадывать в нем слабые признаки сознания своей силы: так он чужд был всякого внешнего проявления этого сознания. Сам он никогда не упоминал о своем значении.

Когда я узнал Белинского в 1846 г., здоровье его было подорвано, хотя болезнь еще не развилась до той степени, как в последний год его жизни. Он был еще довольно бодр, посещал однако немногих, и его посещали тоже немногие и не часто. Он начал, повидимому, утомляться и своею любимою деятельностью, мечтал иногда, вслух, впрочем редко, о независимом положении

от подневольного срочного труда. Но этой мечте сбыться было не суждено. Он, с кружком бывших приятелей, перешел от одного журнала к другому, но это не принесло ему отдыха.[1]) Напротив, надо было употребить все силы, чтобы воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь. Он, так сказать, умирая, дописывал последние свои статьи. Поездка на лето в Крым с Щепкиным не помогла ему и он вернулся в Петербург едва ли не слабее, чем был до этого.

Известно, как произошли все эти перемены: основание Современника, переход всего кружка из Отечественных Записок в новый журнал. Затем, вскоре развилась быстро болезнь—и Белинского не стало.

К вышесказанному о способности его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазии, которая помогла Белинскому чутко проникать в истинный смысл явлений, нередко вводила его в горькие заблуждения, отрезвление от которых обходилось ему дорого, на счет здоровья. Он точно горел в постоянном раздражении нерв: всякие пустяки, мелочь, все это с одинаковою силой, наравне с крупными явлениями, отражалось у него на печени, на легких. Часто, в спорах, от пустого противоречия, от вздорного фельетона Булгарина, или его сотрудников, у него раздражалась вся нервная система, так что иногда жалко, а иногда и страшно было смотреть на него, как он разрешался грозой,

---

1) Имеется в виду уход Б—го из «Отечественных Записок» 1 апреля 1846 г. и начало сотрудничества в «Современнике» с 1-й кн. 1847 г.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ
ЗАПИСКИ,

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НА **1839** ГОДЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АНДРЕЕМЪ КРАЕВСКИМЪ.

—

Beatae plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatem docentem.
Gersonius.

ТОМЪ V.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФІИ

1839.

Титульный лист журнала «Отечественные Записки»
с № 8 (пятого тома) за 1839 г. началось сотрудничество Белинского в журнале

злостью в какой нибудь, всегда блестящей, но много стоившей ему импровизации. И это за то, например, если кто нибудь отзовется сухо, с пренебрежением о тех или других сочувственных ему авторитетах в сфере мысли, науки или искусства, не говоря уже о более серьезных поводах. Он загорался как то вдруг (особенно, если был подходящий слушатель—а не из близких, с которыми все переговорилось и нечего было ни давать, ни самому взять)—и в течение часа, двух являлась импровизация, в роде тех статей, какие появлялись в Отечественных Записках.

И вот эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легких и вообще хрупкости организма, — убила, сожгла этого человека. Я застал его, когда он очевидно догорал в борьбе со всем враждебным, чем обставлена была его жизнь, как и жизнь почти всех более или менее в то время, и в том кругу. Но он не совладел с хаотическим состоянием собственных сил, в которых никогда не было равновесия не только на какой нибудь более или менее продолжительный период, на год, на полгода, например, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая неделя когда нибудь, чтоб он не истерзался чем нибудь от истощения и упадка сил!

Если ничего не приходило извне, он хватался за свои постоянные и любимые, большею частью недосягаемые идеалы, общие и вечные вопросы о той или другой свободе, о низвержении тех или других старых кумиров, и никогда ни от чего не отдыхал, потому что покой вообще не

свойствен натурам нервным, даже и не в его роли и не при его значении. Надо еще удивляться, как, при этой непрерывной напряженной работе умственных и душевных сил в таком скудельном сосуде, жизнь могла прогореть почти до сорока лет!

Поэтому сваливать преждевременный конец его на что нибудь другое, кроме этих разрушительных и жгучих свойств его натуры, непрестанного брожения и горения которых не выдержал бы и другой, не такой хрупкий сосуд — и несправедливо, и неверно! Как тогда старались, так и теперь все еще стараются сваливать вину то на одного, то на другого из журналистов, обременявших непосильною работой Белинского.[1]) И сам он, хотя жаловался иногда на утомление и мечтал, как я сказал выше, о независимом положении, о покое, но эти редкие мечты были, так сказать, общими местами жалоб, какие приходят на ум и на язык каждому из нас среди спешных или утомительных занятий.

Да и возможен ли отдыхающий Белинский? Без непрерывной работы, без этого кипения и брожения вопросов и мнений, вне литературной лихорадки, я не умею представить себе его. Когда его повезли за границу, он был сам не

1) Некоторые друзья Б—го склонны были обвинять Некрасова в перегрузке Б—го работой. (См. ниже воспоминания Орловой). Вряд ли эти обвинения справедливы. Б—ий писал Боткину 4—8 ноября 1847 г. о своем сотрудничестве в «Современнике»: «Я получаю много больше, а делаю много меньше Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым, мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие больше нравственное, нежели деятельное. Я уже говорил тебе, что Дудышкину отданы для разбора сочинения Кантемира, Хемницера, Муравьева. А ведь эти книги — прямо мое дело». («Письма», т. III, стр. 279).

свой. — «Хорошо ли вам было там?» — спросил я его по возвращении. — «Пленение вавилонское!» Вот как выразился он про свое лечение и отдых.

Нет, ему необходима была его спешная, лихорадочная работа, нужен и дорог был и свой маленький кружок, в своей семье, у очага, среди пяти-шести близких лиц, где он бился и трепетал природною своей жизнью, изливал потоки силы, служа своему призванию—и этим удовлетворял себя, и сам чувствовал эту свою силу и давал чувствовать ее другим—этим наслаждался, этим только и жил, т. е. горячим лихорадочным писанием статей и еще более горячими, лихорадочными, иногда почти горячешными, импровизациями в кругу близких лиц.

Это был не критик, не публицист, не литератор только — а трибун. Публичная его трибуна—в журнале; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, где он был нараспашку, это домашняя трибуна, где он не только знал, но, так сказать, видел свою силу, поверял, измерял ее, любовался ею сам, глядя, как наслаждаются ею другие. От этого и были к нему ближе всех те, кто любил в нем больше всего его талант, даже больше нежели его самого! Не допускать этого, значит не понимать хорошо натур этого рода. Самолюбие иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многих и единственный двигатель деятельности, а часто и всей жизни. Я сказал уже выше, как умно и тонко высказывалось оно у Белинского—именно в благодарной симпатии к почитателям его силы.

Многолюдства, новых людей он не любил и избегал. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались в количестве лиц и впечатлений. Свой внутренний мир и западающие туда редкие явления давали громадную пищу его неумолкающему и беспощадному анализу, и он едва справлялся с тем материалом, который попадался ему так сказать—на лету, случайно, или на который наводили его занятия по журналу. Он мало даже читал газеты, как то одним ухом слушал внешние известия, которые занесет, бывало, то тот, то другой приятель, но во всем находилось всегда довольно материала на промежуточный какой нибудь день или вечер между писанием статей. Все почти служило ему темой для более или менее тонкого, иногда бурного, или злого, или наоборот восторженного словоизлияния. Он маялся и скучал, ходя из угла в угол, когда не было подходящего собеседника: ему приводили новое лицо, т. е. недавнего, еще непривыкшего к нему знакомого, и когда наконец никого не было, кроме своих, устраивали партию в преферанс.

Если не было очередного, насущного материала, он из себя добудет пищу. Придешь, бывало, а он вдруг заговорит, повидимому, ни с того, ни с сего (а конечно вследствие кипевшей в нем внутренней работы) о каком нибудь, как помню однажды, например, «Прометее» Гёте: и в эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдруг нападет на какой нибудь авторитет, которому все привыкли слепо поклоняться,—и низвергнет его. Не то так возьмет текущую новость, крутую административную

меру,—и польются потоки речей, полные тонкого анализа, мелких определений, горячих осуждений. Особенно цензура подавала пищу его словесной критике. Чего тут не было! И в то же время он боялся шпионов, и сколько был доверчив к приятелям, даже ко всем вхожим к нему лицам, к которым привык, столько же боялся новых людей, косился на них, подозревая предательство. Между тем не могло быть лучшего доказчика на него, как он сам. Он на ухо каждому приятелю доверял все, что было у него на душе, и ребячески думал, что это тут и умрет. Ему даже в голову не приходило, что те в свою очередь передавали это, также на ухо, своим друзьям, и что сказанное им, почти всегда веское и ценное, непременно дойдет и до других, уже не дружеских ушей.

Что же бы делал такой человек в покое, т. е. в праздности, без своей трибуны в журнале и без этой маленькой аудитории около себя из десятка лиц, заменявших ему весь мир, признававших его и любивших как человека и как силу? Все равно, где бы ни было, при каких бы ни было обстоятельствах,—он всегда горел и сгорел бы: прежде всего в борьбе с ложью и грубостью около, вблизи, и потом в погоне за далекими, уходящими из всякого реального достижения идеалами. Вот его натура—вся!

Я не говорю, чтобы неприятности, потом нужды, теснота жизни, наконец страх, под которым жили и ходили все тогда, не имели своей доли разрушительного влияния на здоровье и жизнь его; но я положительно убежден, что, без нравственной, вулканической внутренней



Белинский и Некрасов

Рисунок Степанова из собрания Пушкинского Дома

работы, которая рвала и жгла и его организм, он перенес бы все остальное, внешнее. Он был обычной жертвой в борьбе крайнего своего развития с целым океаном всякой сплошной, господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, несмотря на его ум, многие опыты, лета, и особенно беспощадно верный анализ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно он был одарен фантазией. Я не говорю уже о том, как юношески восторженно упивался он красотами известных капитальных, любимых им произведений, но он с любовью анализировал каждую мелочь в них, иногда впадая в ребячество до комизма! Стоит развернуть некоторые статьи о Гоголе, где он говорит или, лучше сказать, трепещет под его живым влиянием. Например, в статье о «Горе от ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоедову, что он говорить о гусаке Ивана Никифоровича: без смеха нельзя читать! «Великая, бесконечно великая черта художнического гения этот гусак!»—восклицает он с пафосом и пишет целую страницу о гусаке).*)

Белинскому нередко приходилось стыдиться своих увлечений и краснеть за прежних идолов. Тогда он от хвалебных гимнов переходил в другой, противуположный тон—и не скупился на сарказмы, забыв прежнюю нежность к своим любимцам. Когда он в первые мои свидания с ним осыпал меня добрыми, ласковыми словами, «рисуя» свой критический взгляд на меня

*) Том III, стр. 376 (изд. 1862). (Прим. И. А. Гончарова).
См. полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 46.

мне самому и заглядывая в мое будущее, я остановил его однажды. [1])—«Я был бы очень рад,—сказал я,—если б вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге («Обыкновенная История») теперь».—«Отчего?»—спросил он с удивлением.

«А оттого,—продолжал я,—что я помню, что вы прежде писали о С., как лестно отзывались о его таланте, а как вы теперь цените его!»—(А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появилось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем неоспоримой заслуги, как будто его и не было вовсе в литературе).[2])

Мое справедливое замечание, сделанное мною, впрочем, вскользь, шутливым, приятельским тоном, неожиданно тронуло и задело его за живое. Он задумчиво стал ходить по комнате. Потом прошло с полчаса. Я уже забыл и говорил с кем то другим, а он подошел ко мне и посмотрел на меня с унылым упреком.—«Каково же?», сказал он наконец, указывая кому то на меня: «он считает меня флюгером! Я меняю убеждения,

---

1) П. В. Анненков сопоставляет отношение Б—го к Гончарову с отношением его к Достоевскому: «Во время вторичного моего отсутствия из России, в 1846 году, почти такое же настроение охватило Белинского, как рассказывали мне, и с рукописью «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова — другим художественным романом. Он с первого раза предсказал обоим авторам большую литературную будущность, что было нетрудно, но он еще предсказал, что потребуется им много усилий и много времени, прежде чем они наживут себе творческие идеи, достойные их таланта». (П. В. Анненков. Литературные воспоминания, изд. „Academia", стр. 448).

2) Гончаров имеет в виду, вероятно, гр. В. А. Соллогуба, ранние повести которого, «История двух калош», «Большой свет, вызвали полное одобрение Б—го. По поводу романа «Тарантас» (1845) Б—ий написал резкую полемическую статью, а о драматической «шутке» Соллогуба «Букеты» отозвался крайне отрицательно.

это правда, но меняю их, как меняют копейку на рубль!» — И потом опять стал ходить задумчиво.

Он, конечно, верил в то, что говорил, потому что он никогда не лгал,—но это его объяснение было неверно. Он менял не убеждение, а у него менялись впечатления, и пока впечатление переживало в нем свой срок, оно поглощало его всего, он детски отдавался ему, употребляя на выражение его пером или словами всю свою силу, без пощады, до тех пор, пока не наступит в духе его реакция, работа анализа, и не охладит впечатления, или пока— как я выше сказал—само впечатление, своею ложью или грубостью внезапно не отрезвит его. Он спешил высказывать процесс действия самого впечатления в нем, не ожидая конца,—и от этого впадал в ошибки, разочарования и неизбежные противоречия. Собственно критический, более или менее стройный и проверенный взгляд являлся у него гораздо позже.

Он как Дон-Жуан к своим красавицам—относился к своим идолам: обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее свое поклонение. Идолы следовали почти непрестанно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он еще не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сейчас же легко перешел к Достоевскому, потом пришел я — он занялся мною, тут же явился Григорович, попозже Кольцов,[1]) наконец

1) Гончаров говорит, разумеется, не о первом увлечении Б—го А. В. Кольцовым, умершем в 1842 г., и особенно сблизившимся с критиком еще в Москве в 1836 г. Б—ий во все

Дружинин.[1]) Ко мне он отнесся сравнительно покойнее и трезвее, потому что я подвернулся со своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он покаялся даже где-то печатно—и стал немного осторожнее. Но и тут, в первые недели знакомства, послушавши его горячих и лестных отзывов о себе, я испугался, был в недоумении, и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скороспелому суду. На меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности.—«Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура,—всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!»[2]) И это скажет (и не раз говорил) с какой-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шопотом:—«а это хорошо, это и нужно, это признак художника!»—как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю. Он, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направлению, но отнюдь не весь и не во всем. Искусство, во всей его широте и силе, не потеряло бы своей власти над ним,—и он отстоял бы

годы своей деятельности высоко ценил поэзию Кольцова, но в 1846 г. могло иметь место усиление внимания к ней, так как в этом году Н. Некрасов и Н. Прокопович издали «Стихотворения» Кольцова со вступительной статьей Б—го.

1) Александр Васильевич Дружинин (1824—1864), известный впоследствии критик, напечатал в 1847 г. в «Современнике» повесть «Полинька Сакс», одобрительно встреченную Б—им.

2) Эти слова вполне совпадают с отзывом Б—го об «Обыкновенной истории» в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.»: «Он (Гончаров) поэт, художник, и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к созидаемым им лицам».

его от тех чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я сам не слыхал ничего от Белинского, но это было не нужно благодаря словоохотливости Панаева, который слышал отзывы Белинского и по нескольку дней разносил их с стенографическою верностью по домам, пока, вслед за Белинским, опять не увлекался чем нибудь другим. Но, боже мой! что это были за отзывы! Кроме Кольцова и вне Кольцова уже не было и не бывало в мире поэтов! Этот образ заслонил у него на время и Пушкина, и Лермонтова—словом, ни о ком не было и речи больше. Заикнись кто нибудь, не то чтобы усомниться, а просто прибегнуть, например, к сравнению Кольцова с кем нибудь, или даже к простому и спокойному определению рода поэзии и таланта Кольцова — Белинский, а вслед за ним и Панаев разгромили бы того в конец! И это на неделю, на две, а потом анализ, охлаждение, осадок, а в осадке—искомая доля правды.

Я не ошибочно сравнил эти увлечения Белинского с Дон-Жуановскими увлечениями женщинами: и у Белинского, как у поклонников женской красоты, все прежние идолы бледнели перед последним, иногда невзрачным, но имеющим более всего прелести новизны. Истина же оценки высказывалась в большей или меньшей продолжительности впечатления, и если последнее переживало последующих идолов, то значит—критика его была непогрешима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

К идолам же, обманувшим его ожидания, или которыми он увлекался прежде, в молодости, ошибочно, или больше нежели следовало, — он был беспощаден впоследствии. Кажется, он восхищался еще в студенчестве Каратыгиным, когда тот приезжал из Петербурга в Москву, а Мочалов оттуда сюда, и когда происходил между обоими артистами сценический, а по поводу их, в журналах, и литературный турнир.[1]) Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозреваю, что Белинский в юношестве платил, кажется, обоим артистам более дани удивления, нежели потом они (или собственно Каратыгин) в его глазах стóили, когда Белинский развился и созрел. О Мочалове он и после всегда отзывался сочувственно, ценя в нем верное и чуткое выражение тонких, нежных или высоких сторон Шекспировских и Шиллеровских ролей, особенно Гамлета, к чему совершенно признавал неспособным Каратыгина. Любимцу своему, за некоторые истинно высокие минуты в тех или других ролях, он прощал вялость, монотонность и небрежность исполнения, когда этот актер был не в ударе, а это случалось очень часто. В Каратыгине же он как-то не-хотя признавал талант, хотя талант был большой, и при том старательно выработанный трудом в школе сценических и литературных условий и преданий. Белинский говорил о нем, как о неуклюжей, ходульной фигуре, смеялся над его манерой и грубостью понимания тонких ролей.

---

1) Василий Андреевич Каратыгин (1802 — 1853) — выдающийся актер-трагик, первый исполнитель роли Чацкого.

Здесь он впадал в тот недостаток, который мешал ему быть вполне беспристрастным критиком. Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах было не в горячей натуре Белинского.

Между тем эта же самая горячность, т. е. способность увлекаться, и поставила его во главе критики художественных произведений и создала даже школу этой критики, первым удачным последователем которой был Добролюбов и менее удачным Аполлон Григорьев. Ни до Белинского, ни после него не было у наших критиков в такой степени чуткой способности сознавать в самом себе впечатления от того или другого произведения, сближать и сличать его с впечатлением других, обобщать их и на этом основывать свой суд.

В этом собственно и состоял творческий прием его оценки. Ему помогало еще то, чего недоставало другим критикам: это страстное сочувствие к художественным произведениям. Чем ярче и сильнее талант, тем страстнее было и впечатление. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазию и порождало эти горячие критические излияния, которые бросали столько свету и огня на все, что производила литература замечательного. Эта самая страстность увлечений повергала его, как я заметил, и в те преувеличения, натяжки и ошибки, которые ставились ему, бывало, его противниками в вину, как умысел и обман. Точно также производило в нем нервное раздражение и всякое бездарное, антиизящное явление в литературе и вело к горячим словоизлияниям в обратном смысле—и все с тем же блеском, остроумием, но и с беспощадною иронией.

В области критики художественных произведений являлось и является не мало более или менее замечательных умов и перьев, но очень немногие из них подходят к произведению по прямому и кратчайшему пути, т. е. от непосредственного впечатления произведения на них самих: они обходят со стороны, от холодного умственного воззрения пускаются в критические дебри и рассуждают там, где надо прежде чувствовать и огнем чувства освещать путь уму — к верному определению достоинств или недостатков произведения.

Но чуткость нерв, сила фантазии и впечатлительность до степени страстности, даются природою,—повидимому, не очень часто. Если сами художники встречаются не на каждом шагу, то и критики с такою сильною впечатлительностью, как у Белинского, при силе его ума и дарования, встречаются еще реже. Может быть, этим можно отчасти объяснить недостаток критики в нашей литературе, на который нередко раздаются жалобы в публике.

Недалеко то время, когда наступит черед самого Белинского предстать перед беспристрастный суд критики. Этот суд, неподкупленный привязанностью к его личности живых друзей — современников и его почитателей, настанет, когда охладится теперь пока еще горячее о нем воспоминание и предание: он отделит его общественно-литературную деятельность от всяких дружеских симпатий, откинет все преувеличения и строго определит и оценит истинное его значение и заслугу перед обществом.

Даже и теперь еще, люди второго поколения, несвязанные никакими личными отношениями к Белинскому, просто по краткости периода, на который отодвинулись от него, затруднятся произнесть строгий критический приговор его недостаткам.

Эти недостатки были, может быть, неизбежны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, как какому-то апостолу отрицания, пришлось разыграть в сфере критики и публицистики то же самое, что, другими способами и приемами, разыграл в искусстве Гоголь, и что, иначе уже, конечно, продолжало потом и продолжает разыгрываться или доигрываться почти всеми литературными деятелями до сих пор.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, как его, и такие способы и приемы, какие с успехом были употреблены им: другие, более мягкие, покойные, строго-обдуманные, не дали бы ему сделать и половины того, что сделал он, образуя тогда собой, вместе с Гоголем, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все так прибрано, казисто; общество выделяло из себя замечательных, даже блестящих единиц в разных сферах деятельности, на вершинах его лежал очень тонкий слой общеевропейской культуры. Но масса общества покоилась в дремоте, жила рутиной и преданиями и не готовилась еще итти навстречу тем реформам, мысль о которых уже зрела в высших правительственных сферах и приближение которых чуяли и предсказывали некоторые умы,

в том числе и Белинского. Он стал—или талант и вся его натура поставили его во главе нового литературного движения. Беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей и словесной, и печатной проповеди.

Понятно, что, соединяя в себе роли публициста, эстетического критика и трибуна, провозвестника новых грядущих начал общественной жизни, он неизбежно должен был впадать в резкости, иногда крайности, в лихорадку торопливости, увлечений, разочарований, раздражений, эфемерных симпатий, несправедливых антипатий и недомолвок—словом, непрерывной борьбы, без оглядки назад и без остановок!

Кто не оправдает его, вспомня, с какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, в каком застое покоилась масса, перед которой он проповедывал! Крепостное право лежало не на одних крестьянах—и ему приходилось еще оспаривать право начальников—распоряжаться по своему произволу участью своих подчиненных, родителей — считать детей своей вещественной собственностью и т. д.—и тут же рядом объяснять тонкости и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзии. Без него, смело можно сказать, и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой.

Обращаясь к его увлечениям и разочарованиям, припомню, между прочим, о его беспощадных отзывах о Кукольнике, и особенно, о Бенедиктове.

Поражая направо и налево всякую рутинность, ходульность, ложь, как в жизни, так и в искусстве, он, и в том и в другом, требовал простоты, естественности, и кто не удовлетворял этим условиям—тому пощады не было.

Кукольник и Бенедиктов, оба с значительными талантами, явились на свою беду последними могиканами старой, «риторической», как прозвал ее Белинский, школы. Он и печатно, и в разговорах не мог о них отзываться равнодушно. В Кукольнике он еще соглашался признать некоторые достоинства, именно в повестях из эпохи Петра Великого, и, ставя их в пример, тем тяжеле обрушивался на «Тасса», «Джулио Мости» и др. Но о Бенедиктове он и слышать не мог. Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то, будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова, как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объяснял обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях,—указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего. Не помню, что он говорил печатно о его сочинениях, но в разговоре он постоянно раздражался против него, даже нападал (где-то в статье) на наружность Бенедиктова, в самом деле некрасивую. И Кукольник и Бенедиктов, оба были его bêtes noires. Первого он, кажется, знал лично, а второго нет, разве, видел где-нибудь. Но антипатия к их сочинениям вполне переходила и на авторов.

В Кукольнике лично он мог еще преследовать и ту кичливость, которую носили с собой всюду многие из знаменитостей. Тогда был триумвират из Кукольника, Брюлова и Глинки (говорят, неразлучных между собой), который примировал в обществе. Может быть и это генеральство, выказывавшееся особенно резко в Кукольнике (которого я сам видал только мельком), в его фигуре, речи и манерах,— много прибавляло уксусу к желчи Белинского.

Развенчивание от театрального, мишурного величия и самомнения разных знаменитостей, и сведение их на степень обыкновенных смертных, было тоже в числе его задач. Он не только отрезвлял от чрезмерного самолюбия живых, но, как известно, снимал венки и с усопших, возложенные на них слепым и преувеличенным поклонением их современников, заходя иногда при этом далеко, впадая в вышеупомянутые ошибки, резкости, порицания и отрицания, не стесняясь исторической перспективой. Он как будто не замечал (и действительно в то время не замечал), что при этом страдали законы строгого беспристрастия. Вся сила ударов его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтоб добыть какую-нибудь новую, или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требует прибавить, что он был пристрастен, не в отрицательном только, но и в положительном смысле. Но последнее делалось у него неумышленно, а само собой. Его подкупали симпатии к близким или хорошим

людям, к своему кружку — и он грешил не совестью, а мягкостью сердца. Упомяну о некоторых примерах. Между прочим, он хвалил повести Панаева, и однажды только как-то нехотя, почти шопотом, сказал мне уныло: «творчества у него ни капли нет».

Кудрявцев из московского кружка, большой приятель Белинского, написал недурную повесть: Белинский отозвался о ней почти восторженно.[1]) Он смешивал приятеля с его сочинением, что, повторяю, у него было грехом его сердца, а не совести и эстетического вкуса. Литературные противники упрекали его в этой слабости, но никогда не указывали, из какого чистого источника проистекала она.

Я сказал выше, что Белинский боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую, или расширить старую свободу: от этого и запальчивость, и пристрастия, и натяжки, и противоречия—все то, что неизбежно бывает при усиленной ломке старого и завоевании нового. Приведу пример, в котором Белинский является ревнителем женской эмансипации, не в обширном смысле так называемого женского вопроса вообще, который

---

1) Петр Николаевич Кудрявцев (1816—1858), впоследствии профессор всеобщей истории Московского университета, был близок к Б—му в конце 30-х годов. Повести его, «Катенька Пылаева», «Антонина», «Флейта», «Недоумение», «Звезда», печатавшиеся в «Московском Наблюдателе» и «Отечественных Записках», за подписью «А. Н.» или «Нестроев», вызывали восторженные отзывы Б—го («...автор нескольких превосходных повестей, обличающих в нем глубокую художественную натуру», «Письма», т. I, стр. 318). К 1846 г. отношение Б—го к творчеству Кудрявцева изменилось, по поводу его повести «Сбоев» он писал В. П. Боткину: «Кажется, таланту Кудрявцева — вечная память. Этот человек, видно, никогда не выйдет из свой коры». («Письма», т. III, стр. 194).

тогда еще не поступал, в нынешнем его значении и объеме, на очередь, а просто только в вопросе о любви. В числе всяких свобод, конечно, он не обошел и женскую свободу, за которую поломал не мало копьев, и апостолом которой была тогда Жорж-Занд. Он за одно уже это, помимо таланта, был ее восторженным поклонником.

Я пришел к нему однажды рано после обеда (он жил тогда у Аничкова моста); он ходил по комнате и был рад моему посещению. — «Ну, что Теверино?»,—спросил он:—«как вы находите!» — «Я не читал»,—сказал я равнодушно.— «Как не читали, вы?» — «Не читал»,—повторил я.—«Как так!»—«Не попалось книги под руку, я и не прочел.»—«Что это такое!»—напустился он на меня и разразился, сначала гонкой мне за лень и равнодушие, а потом дифирамбом Теверино и вообще Жорж-Занду. Не читавши Теверино, я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно он сказал об этой повести, помню только, что по мере того как приходили другие, человека два-три, после меня, он всякому указывал на меня и приговаривал с удивлением:— «Теверино не читал!».

О Теверино я упомянул теперь случайно, в виде предисловия к тому примеру, который хочу привести по вопросу о женской эмансипации и о крайнем увлечении этим вопросом Белинского. Не помню теперь, в этот вечер, или в другой, он приступил ко мне с вопросом о «Лукреции Флориани», которая тогда появилась в переводе в Современнике. Я и теперь помню то восторженное поднятие Белинским

руки вверх, когда он, освещая фигуру Лукреции, уже своим электрическим огнем похвал, ставил ее все выше — выше и, наконец, заключил, почти с умилением, что это «богиня, перед которой весь мир должен стать на колени!».

Меня с начала знакомства с ним, как нового для него человека, часто звали к нему и туда, где он бывал, потому что он оживал с новым, не неприятным ему лицом, высказывался охотнее, был весел, доволен, словом, жил по-своему. О Жорж-Занде тогда говорили беспрестанно, по мере появления ее книг, читали, переводили ее; некоторые женщины даже буквально примеряли на себе ее эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло, или пришло бы, как всегда, просто, без участия головы. Так, говорят, т.-е. по рецепту Жорж-Занда, даже женился и В. П. Б. и сейчас же разошелся с женой—уже по собственному своему усмотрению. [1])

Я с большим удовольствием прочел Лукрецию Флориани, наслаждаясь там, вовсе не ее тенденцией освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецию, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеров, этой нежностью очертаний лиц, особенно женских, ароматом ума, разлитым в каждой, даже мелкой заметке, и до сих пор смотрю так на Жорж-Занд и наслаждаюсь всем этим в ней, независимо от ее задач. Но Белинский, ценя в ней художественность исполнения, конечно, по достоинству, выше всего,

1) Речь идет о В. П. Боткине. Эпизод этот подробно рассказан Герценом.

однако, ставил все-таки ее идеи. Я не раз спорил с ним, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорее равнодушно, чтобы только вызвать его высказаться, — и равнодушно же уступал. Без этого спор бы никогда не кончился, или перешел бы в задор, на который, конечно, никто из знавших его никогда умышленно бы не вызвал. Я только, так сказать, затрогивал его, или он вернее всегда сам задирал меня вопросом, ожидая возражения, и тогда разрешался любимым тезисом, кипятился и выкладывал все, что у него наготовилось за известный период, о том или другом предмете, и что потом укладывалось, или в статье, если к этому времени подвертывалась статья, или в словесную импровизацию, в спор. Как безмолвных, так и слишком горячих собеседников, каким он был сам, он, кажется, не любил, что и понятно.

Я помню, что, по поводу Лукреции Флориани, я упрекал его слегка рабством авторитету, а самой Жорж-Занд ставил в вину, как художнику, тесную исключительность ее сферы и ее парадоксы, доказывал, между прочим, что нельзя признавать «богиней» женщину, которая на столько не владеет собой, что переходит из рук в руки пятерых любовников, не обойдя даже такого хлыща, как грубый, неразвитой актер, что это уже не любовь человеческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натуре, а так, «гнусность», что, наконец, любовь двух людей требует равенства в развитии, иначе это каприз и т. д.

Он напал на меня: — «Вы немец, филистер, а немцы, ведь это семинаристы человечества!» —

прибавил он.—«Вы хотите, чтобы Лукреция Флориани, эта страстная, женственная фигура, превратилась в чиновницу!»

Он однажды выразился даже так, что и художник сам должен окунуться в омут распущенности нравов — и проговорил это довольно серьезным голосом, с важным выражением лица, с убеждением, как заповедь. Я уверен, что у Белинского, в этом грубом парадоксе, крылось то убеждение, что художник, неприкоснувшийся собственным опытом низших, грубых слабостей и падений, оставаясь в строгих пределах чистых нравов, не будет иметь многих красок на своей палитре для живописания всех людских страстей и страстишек. Иначе нельзя этого и объяснить. Белинский, конечно, вдавался в очевидную натяжку, допуская не только снисхождение, но присуждая, так сказать, венок женщине, которая смело оторвется от моральных и материальных уз, какими связана была,—и я полагаю—во многом будет связана, т. е. сама не позволит развязать себя, когда наступит отрезвление от горячки так называемого женского вопроса и когда последний вступит в фазис покойной и разумной обработки.

Белинский, без сомнения, лучше других понимал все, что есть крайнего в жизни этих Лукреций и не смешивал про себя всех этих куч навозу, где толпились актеры, герцоги и прочие, сквозь фалангу которых прошла Флориани,— в одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеал женской свободы, он рвался к нему, жертвуя подробностями, впадая в натяжки и противоречия даже

с самим собою, лишь бы отстоять этот идеал, чтобы противные голоса не заглушили самого вопроса в зародыше.

О том, что собственно есть любовь, как человеческое чувство, и как строго и зорко надо его отличать от одного животного побуждения,—он в ту минуту не думал, хотя нередко в печати выражал трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопрос, до которого, конечно, дойдет очередь, когда одержана и упрочена будет главная победа свободы, а детали придут потом, когда начнется воспитание женщины в духе той свободы, — тогда и разберут, что и как. Особенно он боялся помехи со стороны пуритан и пуританок, которые косо поглядывали не только на эмансипационные попытки Жорж-Занд, но и на чувственные проявления любви вообще.—«Да»,—задумчиво и серьезно сказал он однажды, уж не помню при каком случае: — «конечно, не одно «это» (т. е. чувственность) соединяет любящихся, но без «этого» — ничего другого и не нужно».

Между тем собственная его семейная жизнь, совершенно противоречила тому, что проповедывал он на своей трибуне о женской свободе любить на манер Лукреции Флориани. Всему, что говорилось и писалось о его безупречных отношениях к женщинам—надо верить. В семейной жизни трудно отыскать человека, который бы с большим уважением обращался к жене, чем он. Во всем его обхождении с ней было то, что французы называют déférence: это же свойство проглядывало и в отношениях его к прочим знакомым женщинам, к женам и вообще семей-

ствам всего кружка. Если у него в душе и были какие-нибудь семейные облака, то, вероятно, он никогда никому их не обнаруживал. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на деле, он признавал «святость» семейных союзов, он, не любивший признавать вообще святостей.

Мне остается заметить кое-что еще о несправедливом поголовном и голословном упреке, который нередко обращали к Белинскому — в необразованности!

В относительной необразованности можно упрекнуть всякого, не исключая самых образованных. Но на него обрушивался этот упрек, как будто он был неуч, как будто невежество его в чем-нибудь резко обличало его и было заметным недостатком.

Но сочинения его перед нами: где же грешит он в них какими-нибудь промахами против того или другого знания, или слабостью в понимании того или другого, о чем писал? А о чем он не писал и чего он не касался? И нигде нет никаких резких обличений в незнакомстве с догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Материальный повод к этому упреку, конечно, был тот, что он не кончил курса и не получил университетского диплома. За это прежде всего ухватились все завистливые посредственности, которых значение бледнело по мере того, как развивался и обнаруживался талант Белинского. У него, правда, не было ни официального значения, ни официальной учености, и за это его разжаловали в необразованные, в неучи, в недоучки!

Помнится, что и Полевого, в начале его появления, тоже упрекали неученостью, и даже обзывали «купцом», потому что он не был в университете и не имел ученой степени.

Узнали, что Белинский не знает по-немецки, следовательно, он-де, ни Гегеля, ни Гете, ни других в подлиннике не читал, а говорит о них так, как будто читал их сам: ну, значит, и неуч!

Но как далеко ниже его стояли многие из упрекавших его в своей мнимой учености, нужды нет, что они занимали ученые кафедры и положения, или сотрудничали в журналах, говорили и писали о древних и новых литературах, не зная иногда ни одного, или зная только французский язык.

Нет, Белинский был образованнее всех своих сотоварищей (не ученее, а именно образованнее), за исключением разве одного Герцена, правильная подготовка которого возводила его образованность на степень учености.

Средства Белинского были скудные, пути образования почти случайные (однако, в университете, только без диплома). Знания, приобретаемые в университетской аудитории, дополнялись в кругу товарищей, при совместном чтении и взаимном объяснении оригиналов или переводов с иностранных языков, наконец, среди прений, разборов в юных кружках, в добывании с трудом и в взаимной передаче книг.

Разве это не школа, не академия, где гранились друг о друга юные умы, жадно передавая друг другу знания, наблюдения, взгляды—вся эта жажда и любовь к знанию? Какого же еще надо афинского портика, с Платоном в виц-

мундире и очках? Не так ли мы все приобретали то, что есть в нас лучшего и живого? Не там ли, в юношеских университетских кружках, и мы сортировали и осмысливали то, что уносили с кафедры?

Представьте же в этой школе мальчика с светлой головой, с впечатлительным воображением, любознательного и талантливого! Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и понимания до степени ясновидения: сколько сокровищ он вынесет из такой школы!

А та масса русских и французских книг, которую он прочел по обязанности сотрудника, от Молвы до Современника, в течение двадцати лет: это тоже своего рода школа! Тут ему не нужен был профессор; у него был свой регулятор и руководитель, который ближе свел его и с Гегелем, и с Шиллером, и с Гёте — путями, непроходимыми для других, но доступными ему.

Ссылаюсь на один из любимых авторитетов Белинского, на Жорж-Занд, которая, где-то, говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познавать все, заключает так: «On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre».

И Белинский действительно «понимал» все, не только к чему прикасался его сосредоточенный анализ, но и то, что проносилось мимо его, на что он случайно обращал взгляд. Он жил, непрерывно учась за пером, в живых беседах с друзьями и почитателями, и роясь в бездне книг, проходивших через его руки: и так до конца жизни!

В руках противников Белинского упрек в неучености, как известно, был Архимедов рычаг, которым они старались столкнуть его с места, но, конечно, безуспешно.

Профессия ученого была не его профессия, да он никогда и не брал ее на себя.

Следовательно, говоря о его занятиях, необходимо обусловливать в точности, какой именно учености недоставало ему — и за этим ставить вопрос: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на долю,— именно для роли — не эстетического критика собственно, не публициста только, а для того и другого вместе, и еще для чего-то—третьего? Наконец, надо еще спросить: отвечала или не отвечала степень его подготовки эпохе и моменту его деятельности и его среде—и определить, сколько он сделал для своего времени и современного ему поколения? И только в совокупности на все эти вопросы, и следует, и можно давать по возможности покойный, т. е. отрешенный и от вражды, и от пристрастия к нему ответ. Кстати, можно было бы спросить, много ли сделали те «ученые», которые громили его за неученость?

Известно, как Белинский был искренен и не хвастлив. С посторонним, мало знакомым лицом, он почти совсем не говорил, или говорил мало, несвязно и не блистал ни умом, ни знанием. Только с близкими он был свободен в речи, не остерегался ошибок и давал волю своим силам. И в таких именно спорах он обнаруживал массу знаний, которых в покойном разговоре, вне всякого увлечения, нельзя было подозревать

в нем. Он ронял и сыпал их нечаянно, как часто нечаянно в печатных статьях сверкал остроумием, удачными сравнениями, ссылками на те, или другие авторитеты и т. п.

Следовательно, знания, хотя бы собранные медленно, иногда урывками, служили прямой его цели, его делу, т. е. его перу. Он не держал на ученой конюшне оседланного готового коня, с нарядной сбруей, не выезжал в цирк показывать езду haute école, а ловил из табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученых коней. Этот способ партизанских наездов именно и нужен был ему для его целей.

Познаниями мог превосходить его, как я выше сказал, например, Герцен. Но ведь и он не ученостью все сделал в литературе и в жизни, что сделал, хотя ученость, или лучше сказать, всесторонее образование было важным подспорьем его таланту и блестящему остроумию.

Можно, конечно, пожалеть, что и Белинский не совершил от начала до конца путь более обширного, или лучше сказать, более систематического образования, для исполнения, с большим авторитетом, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соответствующая его природным средствам подготовка помогла бы еще более его влиянию на литературное развитие в обществе и упрочила бы за ним значение его деятельности и заслуги — без всяких сомнений и споров.

ПРИМЕЧАНИЯ

И. А. Гончаров, поступивший в Московский университет двумя годами позднее Белинского, застал его еще студентом в 1831—1832 учебном году, но познакомился с ним значительно позже, в начале 1846 года, когда, сблизившись с кружком петербургских писателей, «с ужасным волнением передал... Белинскому на суд Обыкновенную историю, не зная сам, что о ней думать». (И. А. Гончаров, «Необыкновенная история», Сборн. Росс. Публ. Библ., т. II, вып. I, п., 1924, стр. 11).

Тридцать лет спустя Гончаров вспоминал в «Необыкновенной истории» о своих отношениях к кружку:

«В 1846-м году, когда я познакомился с Белинским и с группой окружавших его литераторов и приятелей, между ними не было налицо троих: И. С. Тургенева, В. П. Боткина и П. В. Анненкова. Последние двое были заграницей, а Тургенев, кажется, в деревне.

«О них часто говорилось в кругу Белинского, в котором толпились: И. И. Панаев, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский (появившийся с повестью Бедные люди), позже явился А. В. Дружинин с романом Полинька Сакс. Кроме того, было тут несколько приятелей—не литераторов. Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков и некоторые другие.

«С Панаевым и Языковым я познакомился прежде у Н. А. Майкова (отца поэта). Через последнего, т.-е. через Языкова, я и передал Белинскому свой роман Обыкновенная история, для прочтения и решения, годится ли он и продолжать ли мне вторую часть? Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845 и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав. Белинский, месяца три по прочтении. при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много

хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что задолго до печати о романе знали все—не только в литературных петербургских и московских кружках, но и в публике.

«Собирались мы чаще всего у И. И. Панаева и у Языкова, у Тютчева—иногда все, гурьбой, что позволяли их просторные квартиры. Белинского посещали почти каждый день, но не собирались толпой, вдруг. У него было тесно.

«Летом в 1846 году все разъехались — Белинский уехал, кажется, в Крым, Панаев с Некрасовым в Казань, а к осени собрались все в Петербург. Тогда этот кружок оставил Краевского и Отечественные записки и целиком перешел в Современник (с Белинским во главе), предпринятый Панаевым и Некрасовым, которые и поселились в одном доме». (Необыкновенная история, стр. 7—8).

Большой близости между Белинским и Гончаровым никогда не было. Высоко ценя художественный талант Гончарова, Белинский относился к нему, как члену кружка, неприязненно. После года знакомства он писал В. П. Боткину: «Ты видел Гончарова. Это человек пошлый и гаденький (между нами будь сказано). Но сильно ли понравится тебе его повесть, или и совсем не понравится,—во всяком случае, ты увидишь великую разницу между Гончаровым и Кудрявцевым в пользу первого» («Письма», т. III, стр. 194). Сближению мешало различие убеждений, различие в восприятии общественных фактов критиком-разночинцем Белинским и провозвестником «европеизирующейся» русской буржуазии — Гончаровым. Об этом убедительно говорят следующие строки «Необыкновенной истории»:

«Я литературно сливался с кружком, но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне. Более всего я во многом симпатизировал с Белинским: прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художественным произведениям, наконец с честностью и строгостью его характера. Но меня поражала, и иногда даже печа-

лила какая-то непонятная легкость и скорость, с которою он изменял часто не только те или другие взгляды на то или другое, но готов был, по первому подозрению, менять и свои симпатии. Словом, меня пугала его впечатлительность, нервозность, способность увлекаться, отдаваться увлечению и беспрестанно разочаровываться. Это на каждом шагу: в политике, науке, литературе. Мне бывало страшно. А он был лучший, самый искренний, честный, добрый! Я, повторяю, не сближался сердечно со всем кружком, для чего нужно бы было измениться вполне, отдать многое, все, чего я не мог отдать. Мне было уже 35 или 36 лет—и потому я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, оставался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания. Я ходил по вечерам к тому или другому, но жил уединенно, был счастлив оказанным мне, и там, и в публике, приемом, но чуждался (между прочим, по природной дикости своего характера) тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Мих. Языкова, где меня любили, как родного, и я платил тем же.

«Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренне между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом. Во всех сношениях членов кружка было много товарищества, это правда, размена идей, обработки понятий и вкуса. Но тут же пристальное изучение друг друга—много и отравляло искренность сношений, и вредило дружбе. Все почти смотрели врозь, и если были тут друзья, то никак не друзья по литературе.

«Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому что все платили ему безусловным уважением. А другие, например, Панаев с Боткиным были дружны совсем не ради литературы, а они любили «шалить» волочиться вместе—и это сближало их друг с другом как и Дружинина с Григоровичем.

«Я мог привязаться к Белинскому, кроме его сочувствия к моему таланту, за его искренность и простоту. Но я не мог поручиться, что это осталось бы за мной надолго, по его впечатлительности» (Необыкн. история, стр. 24—25).

Вполне точно намечает Гончаров линию своего расхождения с Белинским рассказывая об его увлечении социализмом: «Я посещал кружок Белинского (как выше сказал), где хотя втихомолку, но говорили обо всем, как говорят и теперь, либерально, бранили крутые меры. Белинский увлекался всем новым, когда в этом новом была искра чего нибудь умного, светлого, идея добра, правды—и не скрывал конечно этого от нас, а из нас иные, например, Панаев, трубил это во всеуслышание... Я разделял во многом образ мыслей, относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и т. д. Но никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму и всему тому, что из него любили выводит—будто бы прекрасного в будущем для человечества. К власти я относился всегда так, как относится большинство русского общества — но конечно лицемерно никогда не поддерживал произвола, крутых мер и т. п.» (Необыкн. история стр. 124—125).

«Заметки о личности Белинского» были опубликованы Гончаровым в 1881 г., в отдельно изданных «Четырех очерках» и вошли затем в собрания его сочинений.

И. ШМАКОВ

БЕЛИНСКИИ В СИМФЕРОПОЛЕ

В журнале «Вестник Европы» за 1875 год помещен ряд статей г. Пыпина, посвященных биографии покойного В. Г. Белинского.[1]) Рассказав о путешествии Белинского по южной России в 1846 году, г. Пыпин приводит его письмо из Симферополя, от 4 и 5 сентября, а затем как бы теряет путешественника и ничего не может сказать о пребывании его в Симферополе, кроме того, что сказано самим Белинским в письме.[*])

Будучи в то время постоянным жителем Симферополя, я имел случай познакомиться с Белинским и видел его довольно часто во все время его пребывания там, которое продолжалось около 10 дней.[2])

Белинский приехал в Симферополь, если не ошибаюсь, 4 сентября, вместе с покойным актером Щепкиным, который, по просьбе сим-

---

1) Воспоминания Шмакова, вызванные появлением работы А. Н. Пыпина, перепечатываются из 2-й книжки журнала «Древняя и Новая Россия» за 1876 г. Это одно из немногих свидетельств современника о пребывании критика на юге России. Ни до, ни после посещения Белинским Симферополя Шмаков с ним не встречался.

*) См. В. Е. 1875 г., май, стр. 148. (Прим. И. Шмакова).

2) Белинский приехал в Симферополь 27 августа 1846 г. (указанная Шмаковым ниже дата не верна), уехал 13 сентября.

феропольской публики, согласился дать несколько драматических представлений в обществе наибездарнейших актеров, имевших антрепренером известного в Новороссийском крае актера Жураковского. С этим Жураковским, обладавшим весьма порядочным комическим талантом, в особенности в малороссийских ролях, Щепкин был знаком еще с тех пор, когда находился с ним вместе в большой труппе Штейна.

Белинский и Щепкин остановились в Симферополе в гостинице Банариуса, носившей название «Золотого Якоря». Осень стояла чрезвычайно сухая и жаркая.

На другой день после их приезда я совершенно случайно поехал на дачу Мариино, принадлежавшую Владиславу Максимовичу Княжевичу.[1]) Взойдя на террасу, выходящую в сад и с которой открывался прелестный вид на Салгирскую дорогу, я нашел там кроме хозяина и жены его двух гостей. Один из них был худой, тощий, видимо, страдавший грудью; он (что в то время было большой редкостью) имел небольшую рыжеватую бороду. Другой был толстяк самого приятного, веселого, так сказать, аппетитного вида. Это были Белинский и Щепкин, которым хозяева меня немедленно и представили, как своего хорошего знакомого. Владислав Максимович смолоду с большим успехом

1) На дачу Мариино Белинский собирался ехать 5 сентября. В. М. Княжевич (1798—1873)—брат писателя Д. И. Княжевича, о нем имеется несколько строк в воспоминаниях И. И. Панаева, служившего под его начальством в департаменте государственного казначейства в 1831—1832 гг. (И. И. Панаев. «Литературные воспоминания». Изд. Academia, Л. 1928, стр. 54—57 и 187). Он сотрудничал в «Библиотеке для Чтения», издававшейся при «Сыне Отечества» в 1822 г.

занимался русской литературой и постоянно с любовью следил за ходом ее и потому, видимо, с большим сочувствием и уважением относился и к Белинскому и Щепкину. Белинский говорил мало и как будто неохотно; он заметно был утомлен и часто брался рукою за грудь. Разговор шел о путешествии по Новороссийским степям от Одессы через Николаев, Херсон и Перекоп до Симферополя. Путешествие это очень не нравилось Белинскому и он с удовольствием упоминал о том, что оно кончается и представляется возможность пробыть несколько дней в Симферополе вблизи гор, лесов и проточной воды.

Фрукты, поданные на стол, около которого мы сидели, очень нравились Белинскому, и он охотно ел виноград, груши и персики. За чаем разговор оживился, глаза Белинского по временам как будто искрились, в особенности когда он весьма саркастически начал говорить о некоторых петербургских и московских литераторах и издателях; он подсмеивался над книгопродавцем издателем Ольхиным, который совершенно случайно из департаментских курьеров министерства финансов сделался владельцем книжного магазина и издателем и считал себя, до некоторой степени, литературным деятелем. Насколько Белинский был сумрачен и неразговорчив, настолько был весел Щепкин; он рассказывал премилые анекдоты о своих странствованиях с труппою Штейна, с удовольствием вспоминал о веселых кутежах на украинских ярмарках, где сам выпивал по 16 стаканов крепкого пуншу.

Около 10 часов Белинский и Щепкин возвратились в город, дав слово хозяевам бывать у них в Мариине почаще. Я ехал за ними верхом и, несмотря на довольно темный вечер, мы всю дорогу весело разговаривали. Белинский очень трусил на крутых подъемах и спусках, по которым шла дорога. Он говорил, что сроду не ездил верхом и очень боится лошадей.

На другой день в 10 часов я отправился в «Золотой Якорь», и застал Белинского одетого, но лежащего в постели. Он принял меня очень любезно, много расспрашивал про окрестности и желал видеть лежащие близь города следы развалин Неаполиса; его также очень интересовал Симферопольский фруктовый базар, в это время года чрезвычайно обильный фруктами всех возможных сортов. Погода была прекрасная и не очень жаркая; мое предложение быть его чичероне в прогулках по городу и окрестностям он принял с удовольствием, и мы немедленно, слегка позавтракав, пошли на базар. Белинский чувствовал себя хорошо, был весел и разговорчив. Мы заходили в татарские кофейни и пекарни, а на базарах накупили целую корзинку фруктов и на дрожках отправились смотреть развалины Неаполиса. Место, где находились эти развалины, возвышается едва ли не на 500 футов над Салгирской долиной и оттуда открываются на три стороны очаровательные и разнообразные виды. Чатырдаг и большая часть Яйлы видны как на ладони, почти от подошвы до самых вершин. Темные сосновые леса резко отделялись от лесов лиственных и серо-фиолетовых

скал. Течение Салгира было видно верст на 20 с множеством деревень и садов, разбросанных по долине. На северо-западе видна была ярко-голубая полоса моря и серая, пыльная степь. Утомившись прогулкой, Белинский сел на траву и с большим удовольствием и аппетитом ел виноград и груши и расспрашивал меня о видимых вдали садах, дачах и горах. К трем часам мы вернулись в гостиницу, где ожидал Белинского пришедший навестить его доктор Андрей Федорович Арендт;[1]) завязался скучный для постороннего разговор доктора с пациентом, и я оставил Белинского, дав слово навещать его ежедневно.

В тот же день вечером я был в театре на спектакле, в котором участвовал Щепкин; играли пьесу «Матрос». Прошло с тех пор около 30 лет, но я до сих пор не могу забыть того приятного ощущения, которое произвела на меня чудная, задушевная игра Щепкина. Публика, не обращая внимания на жалкую игру прочих артистов, приходила в неистовый восторг при каждом слове, при каждом куплете, спетом Щепкиным. В особенности восторгался Александр Николаевич Серов, известный впоследствии композитор и музыкальный критик, в то время молодой, с артистическою наружностью, товарищ председателя уголовной палаты. После спектакля он обнял и расцеловал Щепкина, со слезами на глазах. Белинский не досмотрел до конца спектакля и уехал домой. На другой день я застал Белинского серьезно больным; за ним

1) Брат известного хирурга Н. Ф. Арендта.

ухаживал Арендт и запретил ему дня на три выходить из комнаты, советовал соблюдать строжайшую диэту и не есть ничего, кроме винограда.

Внимание и участие симферопольской публики к Белинскому было очень велико; его постоянно навещали: Княжевич, Серов и Арендт и многие другие. Дня через три он был совершенно здоров и охотно начал навещать своих симферопольских знакомых и собираться в дальнейший путь чрез Севастополь и морем в Одессу. В Севастополе Белинский и Щепкин должны были оставаться несколько дней, потому что и там общество желало видеть игру Щепкина.

Вот, к сожалению, все, что я могу сказать о пребывании Белинского в Симферополе, где он почти все время своего пребывания был не вполне здоров. Одевался он очень просто. Я его видел постоянно в сереньком пиджаке и черной войлочной шляпе с высокой тульей. В театре он был в черном сюртуке и легком сереньком пальто. Лицо его было не красиво, но очень симпатично; на нем по временам появлялось какое-то саркастическое и даже злое выражение, а затем часто виднелось выражение затаенного физического страдания.

А. В. ОРЛОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

ГЛАВА I

С мая 1844 по 26-е мая 1848 г.*) я провела в семействе В. Г. Белинского.[1]) Накануне моего приезда Белинский почти целый день прождал меня в конторе дилижансов, а я приехала на другой день. Когда я позвонила, он сам отворил мне дверь, позвал жену, а меня втолкнул в переднюю, чтобы дворник и извозчик не видели наших излияний при встрече; вообще он совестился выказывать свое волнение. Когда внесли мои вещи и он расплатился с извозчиком, он вернулся к нам, поздоровался со мною, побыл немного с нами и ушел к знакомым, и в этом сказалась его всегдашняя деликатность — не стеснять нас при первом свидании.

Вскоре после моего приезда он пришел вечером часов в 10 и сказал, что завтра в 7 часов утра приедут подводы перевозить нас на дачу в Лесной институт. Мы с сестрой всю ночь не

---

*) День смерти Белинского. (Прим. А. Орловой).
Точная дата смерти Б—го — 28 мая 1848 г.

1) Воспоминания А. В. Орловой, сестры М. В. Орловой, жены Белинского, перепечатываются из брошюры «Лепта Белинского». «Сборник в пользу голодающих». М. 1892 г.

ложились, укладывали вещи, а так как мы обе были новички в этом деле, то посуда была наполовину перебита.

Лето 1844 года было холодное и вполовину дождливое, по утрам ясное, а потом дождь почти каждый день. Дача у нас была омерзительная, построенная из барочного леса и оклеенная самыми жалкими обоями. Ветер гудел беспрепятственно под полуотклеившимися обоями; в комнатах было так холодно, что мы все трое, с ногами, усаживались на диван и с нами две молодые собаченки, чтобы лучше согреться, и со стола не снимали самовара. Белинский говорил, что на даче благоденствуют только собаки и я. А между тем даже с завидным тогдашним здоровьем и я простудилась, сделался флюс, и с тех пор я начала терять зубы один за другим. Понятно, что от всей этой обстановки и срочной работы здоровье Белинского страдало.

Раз вбегаю я в комнату, Белинский лежал на диване, а на полу я увидела пятна крови, и в испуге ахнула.

Ну, чего вы испугались и ахаете?—это у меня часто бывает.

Иногда Белинский вдруг упадет с дивана на пол и начнет кататься; волосы у него были прегустые, покроют все лицо, собаки начнут визжать и теребить его, а он от всей души смеется, так что раскашляется. Чай он пил обыкновенно очень сладкий, с большим количеством сливок, и вливал в него немного рому; однажды ему не захотелось чаю, почти целый стакан остался, он вздумал дать собакам, которые сначала не решались пить, а потом выпили



М. В. Белинская с дочерью О. В. Белинской
и сестрою А. В. Орловой

все и опьянели так, что и на четырех лапах не могли держаться — все падали. Белинский смеялся, как ребенок. Жена говорит ему:— «Ведь они могут взбеситься! что ты наделал!»— Он сейчас же побежал к колодцу, накачал воды в лейку и стал поливать собак до тех пор, пока они совсем не отрезвились и не стали валяться по песку.

Один раз на даче к нам приехал Панаев[1]) после обильного обеда, был как-то особенно весел; глаза у него в этот день были пресмешные; стал что-то рассказывать, я засмеялась; вдруг Белинский вспыхнул:—«Как вам не стыдно, Панаев, говорить глупости! А вы-то, — обращаясь ко мне,—чему смеетесь? Ведь вы ничего не понимаете». Я, конечно, обиделась, а когда сестра пришла, он сказал ей: «Растолкуй ты сестре своей, что она не должна смеяться, когда не понимает, что говорят. Сейчас был Панаев, говорил разные гадости, а благоверная сестрица твоя так и заливается—хохочет».

Белинский очень любил гречневую кашу, находил, что она лучше всяких пирожных. Он любил собирать грибы, огорчался, когда мало находил, а в день нашего переезда в город ему посчастливилось найти несколько белых грибов, чему он радовался, как ребенок.

Лето 1844 года Тургенев жил в Парголове, верст 5 от Лесного, и каждое утро приходил к Белинскому. Разговорам и спорам не было конца. Тургенев говорил обо всем так увлекательно и картинно, что невольно заслушаешься

---

1) Ив. Ив. Панаев.

его. Некрасов жил рядом с нами. Он говорил меньше других, мало спорил, иронически улыбался во время спора других.

Сестра часто раздражалась на прислугу, что она ничего не хочет делать, как велят, грубит и везде старается обмануть и обсчитать. Белинский на это отвечал: «Это наши естественные, исконные враги, иначе и быть не может. Сама посуди: почему она должна делать у тебя и чистую, и грязную работу, а не ты у нее?» — «Да я ей плачу за это жалованье». — «Да почему бы ей не платить тебе жалованье, да и командовать над тобой!»

Однажды мы остались совсем без прислуги. Утром Белинский выходит к чаю, видит: комнаты убраны, печи затоплены, самовар и проч. на столе.

— Ты наняла прислугу?—Нет.—Кто же это сделал?—Мы с сестрой.—Он вздохнул и сказал: «Не думал я, чтобы институтки способны были на это.»

Осенью и зимой 1844—45 года к Белинскому часто собирались вечером человек 5—6 его приятелей; все они были молодые, здоровые и красивые. Но странное дело: как бывало оживится и заговорит Белинский с свойственной ему страстностью и увлечением, невольно забудешь о красивых его приятелях и смотришь не наглядишься на него; он как будто вырастет и вдруг похорошеет какой-то не физической, а скорее духовной красотой; глядишь на него—не узнаешь: совсем не тот болезненный, точно придавленный и невзрачный человек, что был утром, а другой, незнакомый, с поры-

вистой, задыхающейся речью, с глазами искрящимися, жгучими и иногда как бы карающими. Все замолчат. У него некоторые из знакомых читали свои произведения в рукописи: Достоевский, Гончаров, Майков, Некрасов.

В 1845 году лето провели мы на даче под Парголовым. Белинский купался в озере, спал наверху с открытыми окнами, схватил воспаление и его, полуживого, перевезли в город; всю осень и зиму хворал, а весной 1846 г. уехал с М. С. Щепкиным в Крым, где морские купанья, вместо пользы, принесли ему вред.[1])

Днем Белинский не мог писать; бывало все ходит по комнате, дрожит и кашляет, а за работу принимался вечером после чаю, и часто почти всю ночь пишет, а на другой день является к чаю, как с креста снятый. Писал он очень скоро, полулисты так и отбрасывались в сторону один за другим; рот судорожно сжат и искривлен, глаз не видно,—они смотрят на бумагу, волосы опустились на лоб. Мы с сестрой сидим рядом в комнате, читаем или работаем и молчим; вдруг Белинский скажет: «Что же вы замолчали? Болтайте о чем нибудь,—это мне не мешает».

Иногда жена упрекала его, что он покупает то птиц, то цветы, когда денег так мало; на это Белинский отвечал: «Видно, что ты не испытала настоящей нищеты: не знала, что такое не иметь ни обуви, ни белья для перемены, сидеть голодным в нетопленной комнате».

---

1) Панаев вспоминает: «Поездка на юг России не произвела никакого благотворного впечатления на здоровье Белинского». «Воспоминания о Белинском», стр. 509).

Когда Белинский вернулся из Крыма, и книги его были перенесены от Языкова, они лежали на полу в его кабинете[1]). Он очень дурно себя чувствовал и задыхался от кашля. Я предложила ему убрать книги в шкап, чтобы можно было вымести комнату. Я поставила их по своему премудрому усмотрению — большие к большим, а маленькие к маленьким. На другой день Белинский так и ахнул, увидевши мою работу.

— Хоть бы неграмотная была, не так бы обидно, а то и читать умеет, а поступила хуже безграмотной. Вместо облегчения она сделала мне двойную работу—выбирать книги и расставлять.

24-го ноября 1846 года родился у него сын Владимир. Когда приехала бабка, Белинский, взволнованный и испуганный, расставил везде свечи на всех столах и этажерках, и зажег их, так что с улицы могли подумать, что у нас пир, а он все переходил от одной печки к другой, дрожал и не мог согреться до окончания всей этой страшной церемонии. Тургенев заранее вызвался быть крестным отцом и сказал сестре, что подарит крестнику небольшую деревню.— «И ты возьмешь!» — «Я не для себя возьму, а для ребенка»[2]).

---

1) Михаила Александровича Языкова.

2) А. Панаева рассказывает аналогичный эпизод о намерении И. С. Тургенева, после смерти Б—го, обеспечить его дочь: «Раз, после выпуска книжки («Современника»), у нас собралось обедать довольно много гостей. После обеда зашел общий разговор о том, как бы хорошо, если бы разрешили издать сочинения Б—го, — тогда дочь его была бы обеспечена. — «Господа, — воскликнул Тургенев, — я считаю своим долгом обеспечить дочь Б—го. Я ей дарю деревню в 250 душ, как только получу наследство». (А. Панаева, «Воспоминания», изд. «Academia», стр. 260).

Когда пришли крестить, у Тургенева с Белинским был спор о чем-то, и сколько я ни повторяла, что Тургеневу пора итти записаться в книге, меня не слушали и продолжали спорить. Наконец дьячок говорит: «распишитесь хоть вы».—Я и Маслов расписались, а Тургенев с m-me Тютчевой после[1]),—и вышло, что первая пара была действительная, а вторая—для украшения. Во время обряда я старалась не глядеть на Тургенева из боязни рассмеяться, так смешно было его испуганное лицо с чрезвычайно вытянутыми вперед руками, когда ему положили ребенка. Он потом говорил, что сильно боялся уронить его на пол. Обыкновенно Тургенев звонил сильно и иногда даже обрывал звонок, а как войдет, бросится на диван, так что иногда пружины лопались, а на другой день после рождения мальчика он позвонил очень осторожно (колокольчик был обвязан), вошел и сел так тихо, что ни одна пружина не зазвенела, и спросил у меня вполголоса о здоровьи сестры и маленького. Эта деликатность удивила и глубоко тронула меня.

Крестник Тургенева прожил недолго; в марте он умер. Чтобы облегчить его страдания, доктор велел ему делать 4 или 5 раз в день ванны. День и ночь мы не отходили от него, а Белинский вообразил, что ребенок еще поправится, а когда доктор сказал, что все кончено, и велел раскрыть его и отнять горячую бутылку от ног, горе Белинского было так велико, что ни прежде, ни после я не видела ничего подобного.

---

1) Жена Н. Н. Тютчева, Александра Петровна.

Смерть ребенка и весна окончательно подкосили его; он страдал сильно, и ночью, когда спал, то стонал и хрипел страшно; сестра боялась оставаться одна, думая, что он умирает. Вот мы бывало и стоим обе у дверей спальни, обледенелые, держась за руки, чтобы не упасть от страха. От всех этих невзгод молоко (сестра сама кормила) бросилось в голову, она вскочила на окно и хотела броситься с 3-го этажа на мостовую; к счастью, ударилась головой об раму. В эту минуту Белинский проходил мимо, схватил ее за подол платья и сбросил с окна, которое затворил, послал за доктором и за пиявками. Я в это время гуляла с племянницей в Летнем саду, и когда я медленно стала подходить к дому с ребенком[1]), Белинский на балконе ждал меня, выбежал на улицу: «Идите скорей, Marie больна! Ей ставят пиявки. Надо убрать подальше ножи, вилки, ножницы». Доктор приехал, увидел, что молоко бросилось ей в голову: прежде он занимался Белинским, а на сестру не обратил внимания. Время отъезда за границу (к этому времени относится прилагаемое ниже письмо Тургенева) приближалось; сестре стало немного получше, а Белинский был плох, страшно исхудал. В минуту прощанья он подошел ко мне и с невыразимой тоской и мольбой сказал торопливо: «поберегите их обеих!» — и быстро отвернулся.

Из-за границы письма Белинского открывались с волнением и тревогой за его здоровье. Однажды сестра написала ему, что я научила

1) Речь идет о дочери Б—го, Ольге, родившейся 13 июня 1845 г.

дочь их Ольгу разным бранным словам, которые она повторяла, конечно, бессознательно, но с восхитительной улыбкой своего хорошенького личика, и это очень забавляло меня. «Скажи сестре,—писал Белинский,—чтобы она этого не делала: дети должны слышать и знать только слова любви и ласки».

После возвращения из-за границы, осенью 1847 г., хоронили управляющего домом, в котором мы жили; мимо наших окон пронесли гроб, певчие запели, Ольга, которой было 2 года, тоже запела что-то. Отец и говорит: «Дурак, дурак! Если бы ты могла понять это—у тебя прошла бы охота петь». Вообще у нас ни слова «чахотка», ни «смерть» никогда не произносились в доме, а между тем и он, и мы обе ясно видели, что ему недолго жить.

Раз вечером собрались у нас несколько человек. Вдруг Белинский говорит: «Тютчев, сколько стоили похороны Кульчицкого?»—Тютчев сказал цифру.—«Откуда же возьмет бедная вдова такую сумму и для того только, чтобы запрятать гнилое тело?» Все, как ошеломленные, молчали.

Из-за границы Белинский привез длинное пальто темно-серого цвета с черными разводами на пунцовой фланелевой подкладке; Анненков назвал это пальто-халат красным; он верно видел только подкладку. При всех своих немощах Белинский любил иногда играть с дочерью; отворотит обшлага у рукавов и говорит: «Я буду медведь, а ты Машенька»,—и начнет ворчать, а дочь его со страхом и восторгом спасается от его нападений. Однажды, изображая медведя, он вздумал лечь под стол; в это время с ним

сделался припадок удушья и кашля, так что мы с сестрой едва могли его оттуда поднять.

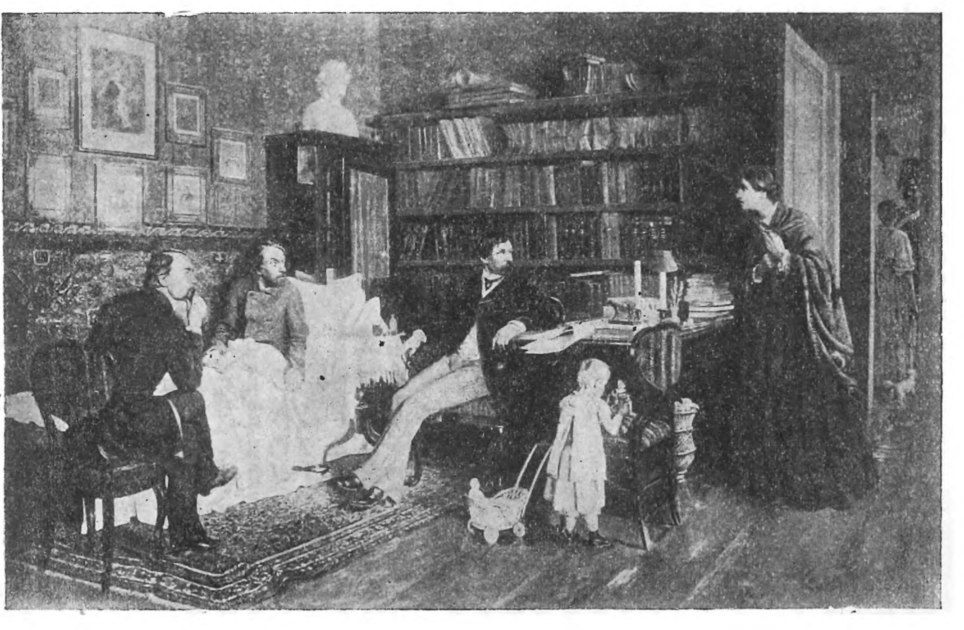
После святой 1846 года стали выносить на двор под деревья диван и выводили туда Белинского. Дверь парадную не запирали, потому что сестра беспрестанно ходила то к нему, то в комнату за питьем или за лекарством. В один из этих промежутков зашел солдат, взял ложку с варенья, засунул ее себе в рукав, а рядом стоял буфет, где лежало серебро, но он не успел ничего больше взять. Сестра вернулась и, видя, что ложки нет, а середи комнаты стоит солдат высокого роста, позвала меня,—я была рядом в комнате с племянницей.—«Где ложка,—спрашивает,—сейчас она лежала на вареньи!» Солдат отдал ее. На этом дворе стоял штаб. Вечером явился к нам генерал дивизии, расспрашивал, какого вида солдат и узнаю ли я его, если он выстроит всех солдат передо мной. Белинский так и впился в меня своими горевшими лихорадкой глазами. Я отвечала, что не узнаю, потому что они все похожи друг на друга, и я в испуге, что он очутился у нас в комнате хорошенько его не разглядела. После ухода генерала Белинский сказал, что у него от сердца отлегло, когда я так ответила. «Ведь знаете ли вы, что бы с ним сделали!»—сказал он, задыхаясь.

Незадолго до смерти сестра надела на дочь новое платье и показала ее мужу, а он и говорит: «Зачем ты ее так рядишь, а сама ходишь с продранными локтями?»—Да на ее платье пошло только 2 арш., и все оно стоит 50 или 60 к.

Последние дни он очень тосковал и не мог долго оставаться в одной комнате; надо было переводить его из кабинета в залу, потом в спальню, а один он не мог итти, упал; вот мы и возьмем его под руки.—«Не думал я дожить до того, чтобы меня водили под руки».

Накануне смерти, 25-го мая, он был очень тих, совсем не кашлял. Несколько ночей сряду сестра плохо спала, утомилась сильно и часов в 10 вечера пришла ко мне в комнату, чтобы уснуть. Я осталась сидеть в спальне прямо против его постели; взяла какую-то книгу и делала вид, что читаю, а сама из-за книги взглядывала на него. Он лежал тихо, не кашлял, ничего не говорил, а глядел как будто на меня такими большими глазами; от его взглядов я не знала куда деваться, а между тем должна была казаться покойной. Он часто просил пить и спрашивал, который час, а сам все двигался к краю постели. Я подложила подушку под матрас, чтобы не упал. Сперва он пил из стакана, а потом прямо из графина и так много пил; тоска становилась все сильнее: все чаще спрашивал, который час.

Так пробыла я до 1 часу, потом он говорит: «Позовите жену!» Я побежала за ней; она пришла и видит, что он уже не лежит, а сидит на постели, волосы поднялись дыбом, глаза испуганные.—Ты верно чего-нибудь испугался?—«Как не испугаться!—живого человека жарить хотят».—Сестра успокоила его, говоря, что это ему приснилось; она уложила его покойнее и бегом побежала сказать мне, что агония началась. Но я заснула крепко, и она не захотела



Белинский перед смертью.

Картина А. А. Наумова.

меня будить. Вернувшись в спальню, видит, что Белинский приподнимается; она подложила ему под спину подушки и сама рукой поддерживала его. Необыкновенно громко, но отрывочно начал он произносить как будто речь к народу. Он говорил о гении, о честности, спешил, задыхался. Вдруг с невыразимой тоской, с болезненным воплем говорит: «А они меня не понимают, совсем не понимают!»—Это ничего: теперь не понимают—после поймут.—«А ты-то понимаешь ли меня?»—Конечно, понимаю.—Ну, так растолкуй им и детям». И все тише и невнятнее делалась его речь. Сестра уложила его. Он все продолжал говорить, вдруг заплакала его дочь; он услышал ее: «Бедный ребенок, ее одну, одну оставили!»—Нет, она не одна—сестра с ней. А я, как успокоила ее, тотчас же опять заснула. Наконец, в шестом часу утра, 26-го мая, он умер тихо. Сестра все время оставалась с ним одна. Ему не было 38 лет[1]).

В день смерти пришел Панаев, прошел в заднюю комнату, где была сестра, и сказал ей захлебывающимся от рыданий голосом: «Ради бога, ни о чем не заботьтесь, все будет сделано». И действительно похоронили его вскладчину приятели, которые и содержали нас до конца ноября; тут мы отправились с двумя детьми и с собакой Белинского в Москву, страшно бедствовали в дороге.

Весной перед смертью Белинского денег в доме совсем не было. За квартиру и прислуге за несколько месяцев не заплачено; пришлось

---

1) Дата не точна. Б—ий умер 28 мая.

еще при жизни его продать рубашки, что он привез из-за границы. Траур не на что было купить, и сестра носила крашеное шелковое платье. Сестра получила место кастелянши в Александровском институте с 11 руб. жалования в месяц, а я—классной дамы с 25 руб. Меньшая дочь Белинского скоро умерла, а бедная сестра моя с этого времени получила хроническую болезнь, которую ни в Москве, ни за границей не удалось вылечить.

Несмотря на свои более чем ограниченные средства (36 рублей) и на отсутствие из Москвы, сестре удалось поставить на могиле первый простой памятник в 30 рублей. Это сделал родственник Белинских Дмитрий Петрович Иванов, когда ездил в Петербург для определения детей в училище. По смерти Добролюбова, когда друзья стали искать могилу Белинского, никак не могли найти ее: вдруг услышали, что какой-то господин говорит своему сыну-гимназисту: «Заметь хорошенько место: это могила великого человека,—здесь похоронен Белинский!» Друзья его удивились, нашедши памятник и на нем засохшие венки. Ясно, что кто-то навещал могилу, только, конечно, не друзья.—По подписке собрали деньги на памятник по всей России, но памятника почему-то не поставили.

У Пыпина сказано неверно, что дочь Белинского воспитывалась в Александровском институте. Так как она была слабая, болезненная, доктора запретили ее учить и не позволяли ей быть в институте даже приходящей; она училась немного дома, а когда ей было 16 лет, к ней ходили в дом лучшие институтские учи-

теля, и она с небольшим в год приготовилась и отлично выдержала экзамен в Московском университете.

Алексей Дмитриевич Галахов больше всех поработал и похлопотал, чтобы ей выдавали пенсию из литературного фонда. Уцелело задушевное письмо, которое он по этому случаю писал сестре.

От издания Солдатенкова и Щепкина, когда разошлись пятьдесят две тысячи экземпляров, на долю сестры причли 14 тысяч которые она потом дала дочери в приданое[1]).

В 1866 году, по окончании своей 25-летней службы, сестра была в Петербурге, поставила теперешний памятник в 500 рублей и отправилась за границу, где дочь ее впоследствии вышла замуж в Греции, в Корфу. В последний раз мы видели могилу Белинского в 1871 году, когда ездили в Гапсаль.

Вот все, что я припомнила из этой скорбной эпохи. Остальное все описано Панаевым, Пыпиным и другими.

г. Корфу.

Март 1891 г.

---

1) Имеется в виду издание сочинений Белинского 1859—61 гг.

ГЛАВА II

В 1835 году Марья Васильевна Орлова познакомилась у Петровых с Виссарионом Григорьевичем Белинским, который много раз бывал у нее в Александровском институте, где она служила классной дамою. В некрологе ее сказано, что институтское начальство преследовало ее за знакомство с Белинским, которому и запретило бывать в институте—это неверно. Ничего подобного не было, да и не могло быть, потому что начальницей этого заведения была тогда женщина энергичная, развитая и умная, одаренная сверх того очень независимым характером.

С первого знакомства Марья Васильевна очень нравилась Белинскому, чему доказательством служат между прочим многие стихотворения поэта Красова написанные по заказу Белинкого, на ее счет, но о женитьбе, по своей бедности, он не мог и думать.

Несмотря на замечательную тогдашнюю красоту, в сестре не было ни малейшего кокетства и жеманства, а какая то почти царственная и строгая простота; за отсутствие кокетства Белинский впоследствии упрекал ее, говоря, что женщина должна быть немного кокетливой,—

это придает ей пикантности. — «Поздно меняться—мне уже 30 лет», отвечала она.

Через А. Д. Галахова Белинский узнал, что статьи его читаются Марией Васильевной и ценятся ею высоко, а прежде он думал, что женщины не станут читать его.

Из письма Белинского при посылке «Демона»[1]), которого вручил ей приятель его, В. П. Боткин, а также из письма Боткина о впечатлении, которое сестра сделала на него при свидании, видно, что сестра, не будучи еще женой Белинского никаким образом не обещала быть Далилой, как это неверно фантазирует г. Протопопов (в биографии Белинского, изд. Павленкова). [2])

Нисколько не похожа она была и на жену Гейне, которая не имела и смутного понятия о гениальности своего мужа. Жена Белинского имела, напротив, очень ясное понятие о значении своего мужа, которого любила и уважала глубоко. Только между ними никогда не было видно никакого миндальничанья, любовь их была слишком целомудренна, и оба не любили высказывать своих чувств. Белинский очень ценил литературный вкус и такт жены и подчас удивлялся меткости и верности ее суждений.

В 1843 году, в бытность Белинского в Москве, он приехал навестить сестру в Сокольниках, где она после болезни жила на даче с своими родственниками. Здесь узнал он, что по болезни

---

1) Б—ий весной 1842 г. собственноручно переписал для М. В. Белинской «Демона» Лермонтова.

2) Протопопов, М. А. «Б—ий, его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк». Спб. 1891.

она должна была оставить службу; на ее место поступила я, и она жила со мною.

Белинский сделал ей предложение, и в ноябре они обвенчались. По словам Панаевой, после женитьбы Белинский реже стал уходить из дому— его уже не давило уединение; когда он не писал, то часто до поздней ночи они говорили и спорили чуть не до слез,—сестра была очень настойчива и упорна в своих мнениях. Во время этих разговоров я уходила к себе, особенно когда родилась Ольга, которую ни днем, ни ночью не оставляла одну с нянькой. В продолжение четырех лет между Белинским и его женой не было ни одной ссоры, а только споры бесконечные. Один раз в шутку он назвал жену Ксантипой, а себя Сократом, потому что сестра ворчала на него, когда он, выходя, забывал надеть калоши или когда новый галстук носил дома, а в старом шел в гости.

С 1843 по 1846 год было мало писем Белинского: из этого видно, что семейная жизнь была ему по вкусу, в чем он не раз признавался.— «Если бы ты знала, говорил он жене, как тяжело и противно было мне прежде возвращаться домой; точно в тюрьму шел. Часто совсем больной и в мерзейшую погоду плетусь куда-нибудь, чтоб только не оставаться одному».

Но болезнь, безысходная бедность и срочная работа не давали ему отдохнуть.

Раз вечером Белинский сказал кому то из приятелей: «Если бы я имел власть, то запретил бы именным указом подлецам бедным жениться: мало того, что сами гибнут, но и заедают жизнь другого». На это никто, конечно, ему ничего не возразил.

А. Н. Пыпин совершенно справедливо говорит, что у домашнего очага началась для Белинского новая жизнь с особыми интересами и тревогами. Из этого вовсе не следует, чтобы жена его внесла в дом особые тревоги,—эти тревоги (болезнь и безденежье) и прежде существовали, а теперь с увеличением семьи не могли исчезнуть; при чем тут жена его, которая бережливостью, порядком и почти немецкою аккуратностью могла поспорить с какой угодно Пенелопой; у той были слуги и богатство, Белинская же во все время ее замужества ($4^1/_2$ года) сшила себе одно ситцевое и одно черное шелковое платье, да и то когда была беременна, и ее прежние платья ей стали негодны. Вообще я нахожу главное достоинство в книге Протопопова—это ее дешевая цена (25 к.), доступная даже бедному учащемуся юношеству, которое не в состоянии заплатить 4 руб. за добросовестный труд Пыпина. Все же и из этой брошюры оно в состоянии познакомиться с такою высоконравственною личностью, какой был Белинский.

Совершенно верно характеризовал г. Протопопов Боткина и Краевского, который превратил Белинского в щедринского Конягу. Отдаю полную справедливость его оценке писем Белинского, которые несравненно выше и задушевнее его печатных статей. Одного не могу я простить г. Протопопову: зачем он, не имея никаких данных, бросил грязью в жену Белинского? Это была женщина высокого, светлого ума, сердце ее было любящее, самоотверженное; ценить и любить мужа она умела, как очень редкие жены. Когда вздумали перенести прах Белинского в одну

могилу с Тургеневым, она этому воспротивилась и написала Гаевскому: «Для вас это увлечение минуты, а для меня его могила — святыня. Он всю жизнь был неудачником, зачем же теперь тревожить прах его?» Согласитесь, что это показывает недюжинную натуру. Да на дюжинной женщине Белинский бы и не женился: ему нужен был друг, вполне понимающий его, а не вертлявая кукла. Один из приятелей его женился; жена его оказалась очень достойной женщиной. Белинский сказал по этому случаю что женитьба его делает честь уму и сердцу его, что выбрал себе такую жену.

Теперь, когда сестра умерла, можно было бы напечатать все письма Белинского к жене и ее к нему, но где их взять? Кетчер не возвратил ни одного из них, несмотря на усиленные просьбы сестры и г. Иванова, его родственника. Хорошо бы при посредстве газетной публикации добыть эту переписку. Не может быть, чтобы Кетчер сжег ее, а вероятно отдал кому-нибудь.[1]) Если бы каким нибудь чудом сохранилась переписка, тогда можно бы достойным образом почтить память Белинского, напомнивши о нем в пятидесятилетний юбилей его смерти в 1898 г.

Когда я писала свои воспоминания о Белинском (глава I), я прежде всего прочитала Пыпина и Панаева,—и совершенно упала духом, потому что все, что я помнила, было уже написано, так что я собрала только то, о чем не было говорено и этого оказалось очень мало.

---

1) Письма Б—го к жене были у Н. Х. Кетчера во время редактирования им сочинений Б—го. Они напечатаны в «Письмах» Б—го, т.т. II и III. Спб. 1914.

Теперь же, когда его корреспонденция утрачена, мне неоткуда взять материала для пополнения пробелов. Не леность заставляет меня положить перо: занятий у меня нет никаких, а говорить о Белинском и жене его было бы великим удовольствием для меня—это мешало бы мне апатически дремать в моей бесполезной жизни.

С 1848 по 1890 год никто из теперешних и прежних литераторов (даже закадычный друг покойного, В. П. Боткин) не вздумал навестить Белинскую и узнать от нее лично чего либо об ее муже. Тогда многое уяснилось бы из интимной жизни Белинского и из характера его жизни.

Портрет, приложенный к книге Протопопова, не похож на Белинского—это сказала я лично художнику, который привозил показать его сестре. Невозможно передать черты лица и выражение глаз через столько лет и лицу, никогда его не видавшему.

г. Корфу. Август 1891 г.

Post—Scriptum*

Посылаю вам письмо Тургенева (см. ниже), где он обещает беречь больного и ухаживать за ним; но как только явился Анненков, Тургенев, тотчас уехал в Лондон. Ох! эти мне друзья, друзья!

Вот все, что уцелело у меня—больше ничего нет и не было, даже единственное письмо, ко-

*) Этот пост-скриптум извлечен из письма ко мне А. В. Орловой. (Прим. Г. Джаншиева, редактора брошюры «Лепта Белинского»).

торое Белинский написал мне после женитьбы, пропало вместе с другими. Еще раз перечитала я Пыпина, Панаева и Головачеву—и решительно не нахожу, что бы я могла прибавить—все уже сказано. О цензурных передрягах есть указания во многих письмах к Боткину. (См. у Пыпина: 114 стр. из моей статьи вырезан весь смысл, выкинута ровно половина. 120. Статью о Петре Великом исказил цензурный синедрион. 187. О Державине—искажена. 304. Ответ «Москвитянину» страшно ошельмовали).

Когда приносили его изуродованные цензором статьи, лицо Белинского то вспыхивало, то бледнело, он в отчаянии отбрасывал книгу и начинал сильнее кашлять.

Глаза у Белинского были серо-голубые, большие, прелестные, искристые, следовательно и Тургенев, и Кавелин—оба правы.

Белинский и прежде женитьбы очень любил детей и собак, и они ему платили тем же.

Из Крыма и из за границы он писал, что не может хладнокровно видеть детей, особенно маленьких девочек; страшно тосковал и рвался домой. «В другой раз меня и калачем не выманишь из дому. Другое дело с семейством, а одному—слуга покорный!»—писал он.

Значит влекло же его сильно в семью, но болезнь и бедность давили его неустанно.

У Панаевой совершенно верно описано, как он собирался жениться, какая перемена произошла в его расположении духа; кончилось одиночество; он даже охладел к преферансу и гораздо реже стал выходить из дому. Разговора и спорам его с женой не было конца. Об

одном я жалею, что мне не удалось прочитать ни одной строчки из его писем к жене—неуместная деликатность с моей стороны.

Как горячо заступался он за Некрасова, бранил Тургенева, что он раздражает Достоевского и подзадоривает больного человека, всех то он любил, ценил и жалел. А его отзыв о доброте Панаева дышет такою теплотою, что и теперь, почти после 50 лет, нельзя читать его хладнокровно.

И за все это Достоевский и Некрасов заплатили самою черною неблагодарностью, особенно Некрасов в последнюю зиму все раздражал его, говоря, что пора писать, а когда Белинский говорил: «не могу писать», то Некрасов прибавлял: «когда нужно писать, то и больны. Да впрочем скоро вам и совсем запретят писать». После этих свиданий Белинский долго не мог притти в себя. Сестра пошла сама затворять дверь и говорит: «Как вам не стыдно, Некрасов, мучить больного? разве вы не видите, что он умирает?»

После переезда нашего в Москву друзья Белинского не навестили ни разу вдову и дочь Белинского, хотя Боткин и Маслов (отец крестный всех троих детей Белинского) постоянно жили в Москве.

M-me К. сказала раз сестре, что Кетчера следовало бы потребовать в суд, чтобы он возвратил письма; сестра этого не сделала, я ему в 80-х годах писала не раз, но только не получала ответа. Из родных Кетчера жив его племянник, Флавий Владимирович Кетчер, он его прямой наследник; не осталось ли у него чего-

нибудь из писем? Прежде он жил в Москве, а теперь не знаю где. Нельзя ли через публикацию узнать, не уцелело ли что нибудь из писем и не откликнется ли какая-нибудь добрая душа.

Г. Корфу. 23 декабря 1891 г.

ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К БЕЛИНСКОМУ

Берлин 17(5) апр. 47.

Я было начал пенять на Вас, любезный Белинский, за то, что Вы не отвечаете на мои два письма, как полученное мною вчера от Тютчева письмо объяснило мне причину Вашего молчанья.—Мне нечего Вам сказывать, что известие сообщенное им—меня огорчило, и что я принимаю сердечное участие в Вашей потере; но признаюсь, почти столько же опечалило меня и то что Ваше здоровье опять расклеилось.—Берегите себя и постарайтесь не расклеиться совершенно (сколько это будет от Вас зависеть)—до первого парохода; а там—я почти готов ручаться за Ваше совершенное выздоровление. Как только я Вас увижу в Штеттине—я на Ваш счет успокоюсь. — Я полагаю что недели две или три спустя по получении этого письма, Вам можно будет отправиться; устройте же все Ваши дела так, чтобы никакое препятствие не могло помешать Вашему отъезду. — Я Вас только убедительно прошу об одном: не церемониться со мной и располагать моей особой —Как только Вы возьмете место на пароходе прошу Вас тот

час известить меня,—и ожидайте встретить меня на набережной в Штеттине.—А впрочем не печальтесь слишком, наблюдайте за собой как за маленьким ребенком—и не тревожтесь слишком.—Мог бы я написать Вам кое что о том, что здесь делается: но Вам теперь вероятно не до того.—И потому—до свиданья; крепко жму Вам руку и оканчиваю мое письмо опять таки той же просьбой: располагать мною.—Кланяюсь всем Вашим. Прошу Вас уверить Марью Васильевну в моем искреннем участии. До свиданья.

Ваш Тургенев.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ ВОСПОМИНАНИЙ О БЕЛИНСКОМ

СОСТАВИЛ М. К. КЛЕМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое библиографическое описание воспоминаний о В. Г. Белинском составлено в основных чертах по образцу, установленному подобными же обзорами воспоминаний о Тургеневе и Некрасове.

В первой части сведения об отдельных воспоминаниях расположены в порядке алфавита их авторов (звездочками отмечены статьи, вошедшие в настоящий сборник). Здесь, кроме библиографических сведений, дана краткая характеристика их составителя (без характеристики оставлены имена таких известных деятелей, как К. С. Аксаков, А. И. Герцен и другие), указаны хронологические рамки обнимаемого ими периода и приведено в краткой формулировке содержание. Особо отмечены опубликованные в воспоминаниях письма. Некоторым новшеством является указание, где это было возможно, времени составления мемуаров (мысль о включении этого сведения была выдвинута А. А. Шиловым).

Вторую и третью части описания составляют общий именной указатель и указатель основных тем, затрагиваемых в мемуарах (цифры обозначают номера воспоминаний). По счастливому стечению обстоятельств оказалось возможным обойтись без алфавитных перечней имен при каждом отдельном воспоминании, обычных в этого типа работах. Именной указатель к настоящей книге, а также указатели к недавно переизданным воспоминаниям И. И. Панаева, А. Я. Панаевой,

П. В. Анненкова, Д. В. Григоровича, обнимающим подавляющее большинство мемуаров о Белинском, позволяют отказаться от громоздких именных перечней при каждой отдельной статье, сократив тем самым размеры работы и облегчив пользование ею.

Регистрировались в библиографии, по возможности, все матерьялы, носящие характер воспоминаний, дневники же и письма оставлены в стороне. В некоторых случаях бывало затруднительно выделить элемент воспоминаний. Так, статьи П. В. Анненкова и А. В. Дружинина написаны отчасти по личным воспоминаниям, отчасти по другим источникам, — здесь выбрано, насколько было возможно, все мемуарное. Иногда это бывало совсем невыполнимо. Так, например, А. Н. Пыпин в предисловии к своей биографии Белинского ссылается на сведения, доставленные ему М. Б. Чистяковым, А. Д. Галаховым и др.,—выделить их из общего текста книги не представлялось возможным.

Мысль о составлении библиографии воспоминаний о Белинском возникла еще в 1916 году в семинарии по Белинскому, работавшем под руководством Н. К. Пиксанова в б. Петроградском университете. Работа была тогда начата Н. В. Яковлевой, но вскоре оставлена. Заготовленные ею немногие карточки послужили отчасти матерьялом к публикуемой работе, произведенной по несколько иному плану и другими приемами. В продолжение всей моей работы, растянувшейся на долгий срок, я пользовался деятельной помощью и постоянными указаниями Н. К. Пиксанова.

Выражаю также признательность П. Н. Беркову и Ю. Г. Оксману, помогавшим мне своими советами как при окончательном просмотре библиографии, так и при комментировании мемуаров.

М. Клеман.

1. *Айвазовский, И. К.* Встреча А. Пушкина с И. К. Айвазовским. Письма И. К. Айвазовского к Н. Н. Кузьмину.—«Мир», 1912 г., кн. I, стр. 71.

Автор: художник.

Дата составления: 1889 г.

Годы: 1846—1848.

Содержание: Посещение Айвазовским Б-го. Внешность Б-го, его болезненность.

2. *Аксаков, К. С.* Воспоминание студентства. Изд. «Огни», Спб. 1911, стр. 17—18, 20, 28. (Первоначально: «День» 1862, №№ 39—40).

Годы: 1832—1835.

Содержание: Б-ий в кружке Станкевича. Свобода от авторитетов. Б-ий у Станкевича на чтении «Коляски» Гоголя.

3. *Анненков, П. В.* В. П. Боткин, некролог.—Анненков и его друзья.—Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 года. Спб., изд. А. С. Суворина. 1892 г., стр. 578. (Первоначально: «С.-Петербургские Ведомости» 1869 г., № 282).

Дата составления: 1869 г.

Годы: 1841—1848.

Содержание: Близкие отношения В. П. Боткина к Б-му. Сотрудничество Боткина в статьях Б-го о романтизме.

4. *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 г.— Литературные воспоминания. Изд. «Academia» под ред.

Б. М. Эйхенбаума, с вступительной статьей Н. К. Пиксанова. Л. 1928, стр. 68, 133—136. (Певоначально: «Библиотека для чтения» 1857, №№ 2 и 11).

Годы: 1835—1842.

Содержание: Влияние статей Б-го. Свидание Б-го с Гоголем, заботы о «Мертвых душах». Авторитетность суждений Б-го в литературных кругах. Письмо Б-го к Гоголю о «Мертвых душах».

5. *Анненков, П. В.* Замечательное десятилетие. 1838—1848 г.—Литературные воспоминания. Изд. «Academia», Л. 1928 г. стр. 161—173, 175—176, 184—211, 214—216, 220—276, 302—305, 318—321, 332—335, 351—370, 388—393, 409—410, 413—414, 429—471, 493, 534—537. 550—601. (Первоначально: «Вестник Европы» 1880, I—V; потом в «Воспоминаниях и критических очерках», т. III).

Годы: 1834—1848.

Содержание: Первое знакомство Анненкова с Б-им. Переезд Б-го в Петербург. Первое выступление Б-го на литературном поприще. «Литературные мечтания» и впечатление, произведенное ими. Каченовский и Б-ий. Отношение Греча и Булгарина к Б-му. Б-ий и кружок Станкевича. Литературные и общественные взгляды Б-го. Отношение к Б-му Пушкина и Гоголя. Влияние Б-го на преподавание русской литературы. Отношение цензуры к Б-му. Значение переезда Б-го в Петербург. Сотрудничество Б-го в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду». Приглашение сотрудничать в «Отечественных Записках». Наружность Б-го. Эволюция миросозерцания Б-го. Отзыв Б-го о Гофмане. Отношение Белинского к посмертным произведениям Пушкина. Отзыв Б-го о «Каменном госте». Характеристика Б-го. Б-ий и кружок Станкевича. Статья «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя». Отзыв Б-го о «Современнике» Пушкина. Возникновение вражды к Б-му. Разрыв Б-го с прежними друзьями. «Разумная действительность». Статья Б-го «Бородинская Годовщина». Споры Б-го с Герценом о «разумной действительности». Статья Б-го

«Менцель, критик Гете». Отречение Б-го от своих взглядов на «разумную действительность». Б-ий в 1836 — 37 году. Занятия Гегелем. Отзыв Б-го о Бакунине. Б-ий в кружке Станкевича. Самостоятельное отношение Б-го к философии Гегеля. Б-ий и Бакунин. Б-ий в гостях у Бакунина. Работа Б-го в «Московском Наблюдателе». Отношение Б-го к философствованию. Отзыв Б-го о Бакунине. Влияние Гегелевской философии на Б-го. Взгляды Б-го на критику. Статья Б-го «Гамлет, драма Шекспира». Заметка Б-го о статье Губера «Фауст». Статья Б-го о «Современнике». Политические и общественные воззрения Б-го. Противоречия во взглядах Б-го. Раздвоение в миросозерцании Б-го. Отношение кружка к Б-му. Редактирование Б-им «Телескопа». Жизнь Б-го в Петербурге. Квартира Б-го. Манера Б-го работать. Отношение Б-го к Пушкину и Гоголю. Статья «О русской повести и повестях г. Гоголя». Отношение Гоголя к статье Б-го. Б-ий и Полевой. Защита Б-им «Ревизора» Гоголя. Пребывание Б-го в Москве в 1839 г. Размолвка Гоголя с Б-им. Тайное свидание Гоголя с Б-им в 1842 г. Работа над произведениями Гоголя. Поворот в миросозерцании Б-го. Влияние Гоголя и Лермонтова на отказ Б-го от философского оптимизма. Б-ий и Лермонтов. Отзыв Б-го о стихотворении «Печально я гляжу на наше поколенье» Лермонтова. Различие в миросозерцании Б-го и Лермонтова. Увлечение Б-го стихотворениями Лермонтова. Отзыв Б-го о «Демоне». Разбор «Героя нашего времени». Влияние Лермонтова на Б-го. Отвращение Б-го к своей статье «Менцель, критик Гете». Впечатление, производимое статьями Б-го. Отзыв Боткина о переломе в миросозерцании Б-го. Характерность разбора «Ревизора» для критических приемов Б-го. Усвоение Гоголем взглядов Б-го на «Ревизора» . Статья Б-го «Горе от Ума». Размолвка Б-го с Н. А. Полевым. Статья Б-го об «Очерках русской литературы» Полевого. Б-ий о своем увлечении философским оптимизмом. Самобичевание. Комедия Б-го «Пятидесятилетний

дядюшка». Знакомство Б-го с И. И. Срезневским. Отношение патриотов—консерваторов к философским статья Б-го. Ссора Каткова с Бакуниным у Б-го. Стремление Б-го примирить их. Отношение Б-го к сотрудничеству Каткова в «Отечественных Записках». Отношение Б-го к этюду Каткова «Сарра Толстая». Проводы Б-им Каткова и Анненкова, отъезжающих заграницу. Отзыв Б-го о Кольцове. Влияние Б-го на Кольцова. Разработка Б-им эстетических начал. Б-ий моралист. Мнение Б-го о значении художественных произведений для выработки морали. Враждебное отношение Б-го к журналу «Маяк». Преследование Б-им «морализичания.» Театральные фельетоны Б-го в «Отечественных Записках». Репутация Б-го, как безнравственного человека. Изучение Б-им великой французской революции. Увлечение Б-го Луи Бланом. Речь Б-го. Резкость суждений Б-го о народном быте. Отзыв об этой резкости Герцена и Хомякова. Отношение Грановского к полемической резкости Б-го. Памфлет Б-го «Педант». Роль Б-го в споре западников с славянофилами. Семейная жизнь Б-го. Болезненность Б-го. Постоянное возбуждение Б-го. Страстное отношение Б-го к истории и действительности. Чтение Б-го. Проницательность Б-го, как читателя. Отзыв Б-го о Ж. Занд и Тьере. Б-ий и славянофильство. Б-ий спорщик. Полемика Б-го с К. С. Аксаковым о Гоголе. Отзыв Б-го о «Параше» Тургенева. Московские пасквили и эпиграммы на Б-го. Отношение Б-го к провинциальной литературе. Отношение Б-го к славянскому вопросу. Отзывы литературных врагов о Б-ом. Б-ий о будущем единении народов. Отзывы Б-го о переводе «Наля и Дамаянти» и о «Калевале». Б-ий и «Мертвые Души» Гоголя. Б-ий и натуральная школа. Жизнь Анненкова с Б-им в Зальцбрунне. Отношение Б-го к статьям И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния словесности» и «Взгляд русского на образование Европы». Непримиримость Б-го по отношению к славянофилам. Грановский о взгляде Б-го на русскую

национальность. Отношение Герцена к деятельности Б-го. Спор Кетчера с Грановским о Б-ом. Б-ий и цензура. Б-ий и социализм. Впечатление, произведенное на Б-го Фейербахом. Б-ий летом 1845 года на даче в Парголове. Посещение Анненковым Б-го. Отношение Б-го к примирению западников с славянофилами. Отзыв Б-го о «Письмах об изучении природы» Герцена. Расхождение между петербургскими и московскими западниками. Свидание П. Н. Кудрявцева с Б-им. Герцен о Б-ом. Отзыв Б-го о романе Герцена «Кто виноват?» Б-ий о значении беллетристики. Отзыв Б-го о «Деревне» и «Антоне Горемыке» Григоровича. Отношение славянофилов и западников к пропаганде Б-им значения беллетристики. Восторг Б-го перед «Бедными Людьми» Достоевского. Восторженное отношение Б-го к Достоевскому. Чтение «Двойника» Достоевским у Б-го. Споры Б-го с Кетчером о Петербурге и Москве. Статья Б-го «Петербург и Москва». Статья Б-го о «Тарантасе» Соллогуба. Б-ий о национализме. Статья «Обозрение литературы 1846 года». Желание Б-го оставить сотрудничество в «Отечественных Записках». Ничтожность материального обеспечения, даваемого литературным трудом. Уход Б-го из «Отечественных Записок». Планы Б-го издать сборник. Приобретение «Современника». Здоровье Б-го. Поездка его в Зальцбрунн. Жизнь Б-го с Тургеневым в Обер-Зальцбрунне. Отзыв Б-го о «Бурмистре» Тургенева. Настроение Б-го в Зальцбрунне. «Письмо к Гоголю». Увлечение Б-го новыми экономическими учениями. Негодование Б-го по поводу «Переписки с друзьями» Гоголя. Охлаждение Б-го к прежним своим воззрениям и своей литературной деятельности. Отзыв Б-го о «Воспоминаниях Булгарина». Статья Б-го об этих воспоминаниях. Отношение к ней редакции «Современника». Сомнения Б-го в пользе своей деятельности. Отзыв Б-го о книге Штирнера. Суждения Б-го об эгоизме. Отзыв Б-го о Сикстинской Мадонне. Статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Б-ий и крепост-

ное право. Мнение Б-го о роли литературы в решении крестьянского вопроса. Б-ий — революционер и агитатор. Идеализация Б-го. Взгляды Б-го на значение искусства. Миросозерцание Б-го. Улучшение здоровья Б-го. Письмо Гоголя к Б-му. Работа Б-го над «Письмом к Гоголю». Поездка Б-го в Дрезден и Париж. Свидание Б-го с Герценом. Нелюдимость Б-го. Любовь Б-го к своим детям. Женитьба Б-го. Семейная жизнь Б-го. Нелюбовь Б-го к дорожным знакомствам. Жизнь Б-го в Дрездене. Посещение Картинной Галлереи. Отзыв Б-го о «Сикстинской Мадонне» и «Суде Париса» Рубенса. Отзыв Б-го о «Торжестве Вакха» Рубенса. Б-ий в Кельне. Б-ий в Париже. Отдых Б-го в семье Герцена. Отзыв Б-го о Париже. Интерес Б-го к конечным результатам цивилизации. Общее впечатление, произведенное на Б-го европейской жизнью. Опасения друзей Б-го по поводу его разочарования Европой. Отношение Б-го к польскому вопросу. Отношение Б-го к революции 1848 года. Жена Герцена и Б-ий. Отъезд Б-го из Парижа. Ответ Гоголя на письмо к нему Б-го. Времяпрепровождение Б-го накануне отъезда из Парижа. Путешествие Б-го до Брюсселя и Берлина. Возвращение в Петербург.

6. *Анненков, П. В.* Идеалисты тридцатых годов. — Литературные воспоминания. Спб. 1909 г. стр. 87, 123, 127, 132—133. (Первоначально: «Вестник Европы» 1883 г., 3 — 4, потом — Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 г. Спб. 1892).

Годы: 1839—1841.

Содержание: Отзыв Б-го о «Лицинии» Герцена. Размолвка между Б-им и Герценом. Примирение. Отношения Б-го и Герцена к славянофилам.

7. *Анненков, П. В.* Молодость Тургенева.—Литературные воспоминания. Изд. «Academia». Л. 1928, стр. 611, 617, 636 — 639. (Первоначально: «Вестник Европы» 1884, II).

Годы: 1840—1848.

Содержание: Б-ий знакомит Герцена с Тургеневым. Отзыв Б-го о «Параше» Тургенева. Встреча Тургенева с Б-им в Штеттине. Обещание Тургенева подарить Б-му 100 душ крестьян. Выход Б-го из «Отечественных Записок». Намерение Б-го издать альманах «Левиафан». Покупка Панаевым и Некрасовым собранных Б-им материалов для «Современника». Жизнь Б-го в Зальцбрунне с Тургеневым.

8. *Анненков, П. В.* Н. В. Станкевич, биографический очерк. — Литературные воспоминания. Спб. 1909 г., стр. 383—384, 395, 398—400, 411—412, 421—424. (Первоначально: «Русский Вестник» 1857, II и IV; отдельно— М. 1857).

Годы: 1834—1838-

Содержание: Б-ий выразитель воззрений кружка Станкевича. Влияние Гофмана на Станкевича и Б-го. Отзыв Б-го о Гофмане. Обобщение Б-им взглядов и идей кружка Станкевича. Увлечение Б-го литературой. Мнение Б-го о падении таланта Пушкина. Разъяснение Б-им значения «Ревизора» Гоголя. Самостоятельное редактирование Б-им «Телескопа» в 1835 году. Горячность Б-го. Б-ий о поэтической и критической деятельности Шевырева. Б-ий и Станкевич. Планы Б-го по прекращении «Телескопа». Редактирование Б-им «Московского Наблюдателя».

* 9. *Аргиллапдер Н. А.* В. Г. Белинский. (Из моей студенческой жизни). — «Русская Старина» 1880 г., № 5, стр. 140—143.

Автор: Студент Московского университета.

Годы: 1828 - 1832.

Содержание: Вступление Б-го в Московский университет и жизнь на казенном коште. Холера в Москве. Студенческие спектакли и литературные вечера. Трагедия Б-го «Владимир и Ольга». Представление ее в цензурный комитет и провал трагедии. Болезнь Б-го. Исключение из университета. Сотрудничество Б-го с Надежди-

ным. Закрытие «Молвы» и «Телескопа». Переезд Б-го в Петербург и работа в «Отечественных Записках». Последняя встреча Аргилландера с Б-им.

10. *Арнольд, Ю. К.* Воспоминания. Вып., II. М. 1892 г., стр. 176—178, 202—207, 210—214.

Автор: музыкальный писатель и композитор.

Годы: 1840.

Содержание; Б-ий на обеде, данном по случаю выхода 1-ой книжки «Пантеона русских и всех европейских театров». Спор Б-го с Каратыгиным и Булгариным об игре Мочалова. Встреча Арнольда с Б-им у Одоевского. Отношение В. А. Соллогуба к Б-му. Сближение Арнольда с Б-им. Статьи Б-го о книгах В. Ф. Одоевского. Квартира Б-го. Посещение Арнольдом Б-го. Воззрения Б-го на поэзию. Кольцов у Б-го. Б-ий о стихах Кольцова. Декламация Б-го. Б-ий и Кольцов у Арнольда. Статьи Б-го о «Горе от Ума» Грибоедова. Размолвка Б-го с Арнольдом. Пристрастность критики Б-го.

11. *Брылкина, Е.* Из знакомства с Белинским. (С рассказа г-на Б).—«Кронштадтский Вестник» 1862, № 47.

Годы: 1846—1848.

Содержание: Возвращение Б-го с юга России в 1846 г. Первое посещение автором воспоминаний квартиры Б-го на Лиговке. Наружность и обращение Б-го. Интерес Б-го к февральской революции. Болезненное состояние Б-го. Еженедельные разговоры. Жена и дочь Б-го. Советы Б-го и его возмущение воспитанием. Неожиданная смерть Б-го. Беседа с М. В. Б-ой о последних часах жизни ее мужа. Помощь семье Б-го, оказанная его друзьями.

12. *Буслаев, Ф. И.* Мои воспоминании. 1897, стр. 19, 46 — 47. (Ранее: «Вестник. Европы» 1890 г., кн. 11, стр. 9—10).

Годы: 1829—1834.

Содержание: Жизнь Б-го у Надеждина Б-ий у М. И. Владыкиной. Б-ий — учитель русского языка в Пензенской гимназии.

13. *Г. Г.* Университетские воспоминания. — «День» 1863 г., № 42, от 19 окт., стр. 6—10.

Автор: бывший студент Московского университета.

Годы: 1831—1834.

Содержание: История с Б-им и отношение к ней студентов.

14. *Галахов, А. Д.* Сороковые годы.—«Исторический Вестник» 1892, т. 47, кн. 1, стр. 128, 133, 135—137, 144.

Автор: историк литературы.

Годы: 1834—1848.

Содержание: Б-ий в кружке Станкевича. Б-ий и Станкевич. Критические выступления Б-го в «Молве». Отношения Б-го и Боткина. Первое знакомство Галахова с Б-им у Селивановского. Встречи в «Литературной кофейне». Выход в свет «Русской грамматики» Б-го. Сотрудничество Б-го в «Прибавлениях к Русскому Инвалиду» и «Отечественных Записках». Б-ий и П. Н. Кудрявцев. Жена Б-го. Встреча Галахова с Б-им в Петербурге. Разрыв Б-го с «Отечественными Записками» и переход в «Современник». Отзыв Б-го о Тургеневе.

Письма: К Боткину, В. П., от 4-го ноября 1847 г. Спб.

* 15. *Герцен, А. И.* Былое и Думы.—Полное собрание сочинений и писем, под редакцией М. Лемке, т. XII,— стр. 6, т. XIII — стр. 10 — 11, 15 — 16, 20 — 27, 35, 36, 151—152, 154, 209, 237 — 240. (Первонально: «Полярная Звезда» 1855 г., кн. 1).

Дата составления: 1855—1860 г.г.

Годы: 1840—1848.

Содержание: Б-ий и «Былое и Думы». Гегельянство в кружке Станкевича. Увлечение Б-го «разумной действительностью». Разрыв Б-го с Герценом. Герцен у Б-го в Петербурге. Пере-

мена политических взглядов Б-го. Критика Б-го. Впечатление произведенное статьями Б-го. Характер Б-го. Б-ий на вечере у Одоевского. Б-ий спорщик. Последняя встреча Герцена с Б-им. Б-ий и Станкевич. Бедственное материальное положение Б-го. Б-ий и славянофилы. Популярность Б-го. Б-ий и Кетчер. Б-ий у Герцена в 1843 году.

16. *Герцен, А. И.* Du développement des idées révolutionaires en Russie. (О развитии революционных идей в России).—Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. Лемке, т. VI, стр. 253, 262, 274—276, (перев. 359, 369, 383—387). (Первоначально напечатано в немецком переводе в журнале: «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», 1851, I—III, V).

Дата составления: 1851 г.

Годы: 1811—1845.

Содержание: Общая характеристика Б-го. Борьба Б-го с славянофилами. Детство Б-го. Б-ий в Московском университете. Б-ий и кружок Станкевича. Увлечение Б-го Гегелем. Самостоятельное отношение Б-го к философии. Работа Б-го в «Отечественных Записках». Значение критики Б-го. Свобода Б-го от авторитетов. Борьба Б-го с славянофилами. Симпатии читателей к Б-му, стесненному в своей полемике цензурой.

Головачева, А. Е. см. Панаева, № 42.

* 17. *Гончаров, И. А.* Заметки о личности Белинского.—Собрание сочинений, изд. Маркса, Спб. 1899, т. XI, стр. 159—187. (Первоначально в «Четырех очерках». Спб. 1881).

Дата составления: 1874 г.

Годы: 1846—1848.

Содержание: Общая характеристика Б-го. Суждение Б-го о творческой деятельности человека. Творческая работа Б-го. Увлечение Б-го идеалами свободы, правды, добра и человечности. Нетерпимость Б-го. Увлечение Б-го учением Фурье и коммунизмом. Отношение Б-го к славянофилам. Отношение его к своим друзьям. Самолюбие Б-го. Начало знакомства Гончарова с Б-им.

Состояние здоровья Б-го в 1846 г. Напряженная литературная работа. Переход в «Современник». Поездка на юг России. Впечатлительность и раздражительность Б-го. Причины ранней смерти Б-го. Впечатления Б-го от поездки за границу. Потребность Б-го в лихорадочно-спешной работе. Потребность в постоянных беседах с членами своего кружка. Общий характер деятельности Б-го. Потребность Б-го в собеседниках. Отзыв Б-го о «Прометее» Гете. Отношение к цензуре. Способность Б-го увлекаться. Отношение Б-го к юмору Гоголя. Резкие переходы в увлечениях Б-го. Отношение Б-го к Гончарову в начале знакомства. Отношение Б-го к С. Разговор Гончарова с Б-им об изменении его взглядов. Увлечение Б-го писателями — Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, Григоровичем, Кольцовым и Дружининым. Отношение Б-го к Гончарову. Увлечение Б-го Кольцовым. Отношение Б-го к предметам своих прежних увлечений. Отношение его к Каратыгину и Мочалову. Критическое чутье Б-го. Значение его критики. Б-ий, как отрицатель. Отзывы Б-го о Кукольнике и Бенедиктове. Нетерпимость его к этим писателям. Деятельность Б-го, как разрушителя. Пристрастность Б-го. Отношение его к Панаеву и Кудрявцеву. Отношение Б-го к женской эмансипации. Отзывы о Жорж-Занд. Споры Б-го с Гончаровым относительно «Лукреции Флориани» Ж.-Занд. Семейная жизнь Б-го. Неосновательность упреков Б-му в невежестве. Источники, из которых Б-ий черпал свои обширные сведения. Начитанность Б-го.

18. *Гончаров, И. А.* Воспоминания. В университете. На родине. — Собрание сочинений, изд. Маркса. Спб. 1899 г. т. XII, стр. 17, 76—78. (Ранее: «Вестник Европы» 1887 г., № 4).

Дата составления: начало 70-х г.г.
Годы: 1848.

Содержание: Знакомство с Б-им. Суждения Б-го о минувших деятелях. Отзывы Б-го о Пушкине. Отношение к Кукольнику.

19. *Гончаров, И. А.* Необыкновенная история.—Сборник Российской Публичной Библиотеки, т. II. Материалы и исследования, вып. I. II. Изд. Брокгауза-Эфрона, 1924. Стр. 7—9, 11, 24—25, 124.

Дата составления: 1875—1876 г.г.

Годы: 1846—1848.

Содержание: Знакомство Гончарова с Б-м Кружок Б-го. Передача Б-му для прочтения первой части романа «Обыкновенная история». Отзыв Б-го о романе. Посещение Гончаровым Б-го. Поездка Б-го на юг России. Переход из «Отечественных Записок» в «Современник». Встреча Гончарова с Тургеневым у Б-го в 1847 г. Смерть Б-го. Отзыв Б-го о «Записках Охотника». Отношение Б-го к членам своего кружка. Отношение Гончарова к Б-му. Увлечение Б-го социальными вопросами.

20. *Григорович, Д. В.* Литературные воспоминания. Изд. «Academia», под ред. В. Л. Комаровича. Л. 1928. стр. 126, 133, 136, 143—145, 161—164, 188—189, 203—204. (Ранее: «Русская Мысль» 1893 г. № 1).

Дата составления: 1887—1892 гг.

Годы: 1843—1846.

Содержание: Кружок Б-го. Знакомство Григоровича с Б-им. Отношение Б-го к Бальзаку Похвалы Б-го «Бедным людям». Чтение повести Достоевского у Некрасова в присутствии Б-го Разрыв Достоевского с кружком Б-го. Отношение Б-го к повести Григоровича «Деревня». Отзыв Б-го о «Деревне» в «Современнике». Б-ий в редакции «Современника». Кружок Б-го. Отношение Б-го к Некрасову и Панаеву. Увлечения Б-го. Б-ий и Анненков. Отзывы Б-го о Гончарове. Б-ий и Краевский.

Письма: Три отрывка из писем Б-го к П. В. Анненкову.

21. *Данилов, А.* Из воспоминаний старика (Белинский и Щепкин).—«Современные Известия» 1881 г., № 329 от 28 ноября, стр. 4.

Автор: бывший студент Харьковского университета.

Годы: 1848.

Содержание: Приезд Б-го и Щепкина в Харьков. Овации, устроенные им студенческой молодежью. Неодобрительный отзыв Б-го об игре Щепкина на бенефисе.

* 22. *Достоевский, Ф. М.* Дневник писателя. За 1873 г. Гл. I. Вступление. Гл. II. Старые люди. За 1876, февраль, гл. II. Нечто об адвокатах вообще. Июнь, гл. I. Несколько слов о Ж.-Занд. гл. II. Мой парадокс. За 1877, январь, гл. II. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания. Ноябрь, гл. I. История глагола «стушеваться».—Полное собрание сочинений, изд. «Просвещение», т. 19, стр. 156—162, 305; т. 20, стр. 63, 195 — 196, 205, 207 — 208; т. 21, стр. 27—31, 89, 342—343. (Первоначально: «Гражданин» 1873 г. и отдельные выпуски «Дневника писателя» 1876 и 1877 г.г.)

Годы: 1845—1847.

Содержание: Анекдотический отзыв Герцена о статье Б-го «Разговор между господином А. и господином Б». Восторженность Б-го. Сравнение Б-го с Герценом. Отношение Б-го к «Бедным Людям» и к Достоевскому. Увлечение Б-го социализмом. Его атеизм. Отношение к личности Христа. Разговор Достоевского с Б-им о Христе. Отношение Б-го к французским социалистам, к Фейербаху и Штраусу. Грусть Б-го. Охлаждение между Б-им и Достоевским. Суждение Б-го о таланте. Отношение Б-го к Бальзаку. Борьба Б-го с славянофилами. Некрасов и Б-ий. Чтение Б-им рукописи «Бедных людей» и отзыв его об этом произведении. Первая встреча Достоевского с Б-им. Интерес Б-го к повести Достоевского «Двойник». Чтение у Б-го этой повести.

23. *Дружинин, А. В.* Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения.—Собрание сочинений, т. VII, Спб. 1865 г., стр. 238.

Дата составления: 1856 г.

Годы: 1848.

Содержание: Знакомство Дружинина с Б-им. Болезнь и смерть Б-го. Характер его критики.

24. *Дружинин, А. В.* Сочинения Белинского, томы 1, 2 и 3. Москва, 1859 г.—Собрание сочинений, т. VII. Спб. 1865, стр. 611—613.

Дата составления: 1860 г.

Годы: 1848.

Содержание: Болезнь Б-го. Его страстная любовь к литературе. Интерес к мельчайшим литературным явлениям.

25. *Захарьин-Якунин, И.* Белинский и Лермонтов в Чембаре. (Из моих записок и воспоминаний).—Встречи и воспоминания. Спб. Изд. М. В. Пирожкова, 1903, стр. 8, 9, 25—30, 32—33. (Ранее: «Исторический Вестник» 1898 г., кн. 3. 905, 911, 918—929. В отдельном издании выпущены напечатанные в «Историческом Вестнике» сведения о последних минутах Б-го (по рассказам М. В. Белинской и Д. П. Иванова).

Автор: литератор. Пишет со слов родственников и знакомых Белинского.

Годы: 1811—1862.

Содержание: Семейство Шумских в котором бывал Б-ий. Визит автора статьи брату Б-го, Конст. Григор. Разговоры с ним, сведения об отце и дяде Б-го. Успехи Б-го в уездном училище. Поступление в Пензенскую гимназию. Московский университет и жизнь в «конвикте». Исключение из университета. Тяжелый труд критика. Поездка за границу. Последние минуты жизни Б-го. Письма Б-го к Конст. Григ. и их судьба. Отношение Б-го к брату. Внимательность Б-го к землякам. Наезды Б-го в Чембар. Посещение автором статьи М. В. Белинской. Дочь Б-го. Маска, снятая с Б-го. Второе посещение М. В. Белинской.

Письма: Выдержка из письма к брату К. Гр. Петербург, 9 апреля 1840 г.

26, *Иванисов, 2-ой*. Воспоминания о Белинском.—«Московские Ведомости» 1861 г., № 135, стр. 1089.

Автор: земляк Б-го.

Годы: 1811—1832.

Содержание: Происхождение Б-го. Лишения Б-го. Литературные интересы Б-го в детстве. Б-ий в Московском университете.

* 27. *Иванов, Д. П.* Несколько мелочных данных для биографии В. Г. Белинского.—Белинский. Письма, под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, Спб. 1914, стр. 399—405.

Автор: племянник Белинского.

Дата составления: 1875 г.

Годы: 1811—1826.

Содержание: Происхождение фамилии Б-го. Отец Б-го. Семья Б-их. Материальное их положение. Любознательность Б-го в детстве. Мать Б-го. Первоначальное обучение Б-го. Поступление в Чембарское уездное училище. Преподавание и система обучения в училище.

28. *Иванов, Д. П.* Сообщения при чтении биографии В. Г. Белинского.—Белинский. Письма, под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, Спб. 1914, стр. 404—443.

Автор: племянник Белинского.

Дата составления: 1876 г.

Годы: 1825—1829.

Содержание: Пребывание Б-го в гимназии. Состояние Пензенской гимназии при Лажечникове. Недостоверность сведений, даваемых последним. Происхождение Б-го. Преподавательский состав Пензенской гимназии и преподавание в ней. Учение Б-го в гимназии, отношение к нему преподавателей. Грамматика Б-го. Причина оставления Б-им гимназии. Жизнь Б-го в Пензе. Недостоверность сообщений Иванисова. Материальное положение Б-го. Товарищи Б-го по квартире. Литературные интересы Б-го. Увлечение театром. Развлечение Б-го на святках. Свидетельство Е. П. Ивановой о родителях Б-го и его семье. Любовь Б-го к отцу.

29. *Инсарский, В. А.* Записки, ч. 1-ая и 2-ая. Спб. Изд. ред. журнала «Русская Старина», 1898, стр. 10, 11.

Автор: чиновник, мемуарист.

Годы: 1838—1840.

Содержание: Б-ий на литературных вечерах Селивановского. Впечатление, произведенное переходом Б-го в «Отечественные Записки». Б-ий у Исаева и Инсарского. Отзыв Б-го о стихотворении Лермонтова «В минуту жизни трудную».

* 30. *Кавелин, К. Д.* Воспоминания о В. Г. Белинском.— Собрание соч., т. III, изд. 1899 г., стр. 1081—1098.

Дата составления: 1874 г.

Годы: 1834—1848.

Содержание: Знакомство Кавелина с Б-им. Занятия Б-го с Кавелиным в качестве учителя по русскому языку и словесности. Небрежное отношение Б-го к урокам. Благотворное влияние на Кавелина разговоров с Б-им, дружеские отношения между ними. Редкие встречи Кавелина с Б-им после вступления в университет. Отношение к Б-му славянофилов. Б-ий и Елагины. Философский оптимизм Б-го. Вечер у В. П. Боткина. Сериозное сближение Кавелина с Б-им в Петербурге в 1842 г. Жизнь Кавелина с Тютчевым и Кульчицким. Частые посещения их Б-им. Б-ий и Милановский. Кружок Б-го, его состав, времяпрепровождение, дружеские отношения между членами, влияние Б-го. Нападки Б-го на Панаева и Кавелина. Б-ий и Тургенев. Отзыв о «Параше». Отзыв Б-го о Каткове. Работа Б-го «запоем» и игра в карты. Б-ий и Вержбицкий. Сходство в характере Б-го и Герцена. Ненависть Б-го к панславизму. Мировоззрение и политические взгляды. Резкость Б-го. Взгляд Б-го на роль России в решении социальных вопросов. Отношение к правительству, к полякам. Обоготворение Петра Великого. Увлечение оперой. Музыкальная неподготовленность Б-го. Отъезд Кавелина из Петербурга. Отзыв Б-го о Шевыреве. Альманах «Левиафан». Журнал «Современник» и устранение Б-го от редакторства. Б-ий и

Некрасов. Охлаждение московский друзей Б-го к Некрасову. Переписка Кавелина с Б-им. Отзыв Б-го об «Антоне Горемыке». Женитьба Б-го. Поездка на юг России и заграницу. Вызов в третье отделение и причины его. Смерть Б-го. Последнее свидание Кавелина с Б-им. Отзыв Б-го о Боткине. Наружность Б-го. Жена и дочь Б-го. Уроки Б-го у М. М. Бакунина. Резкость суждений Б-го. Б-ий и Герцен. Отношения Б-го и Грановского. Незнакомство Б-го с иностранными языками. Переводы, деланные для него друзьями. Влияние Станкевича на Б-го.

31. [*Краевский, А. А.*] Библиография и журналистика («Воспоминания о Белинском» и литературные сплетни И. С. Тургенева).—«Голос» 1869 г., № 100 от 10 апреля.

Автор: журналист, издатель «Отечественных Записок».

Дата составления: 1869 г.

Содержание: Условия работы Б-го в «Отечественных Записках». Сплетни, возникшие при переходе Б-го из «Отечественных Записок» в «Современник». Отношения Б-го и Краевского.

Письма: Выдержка из письма Белинского к А. А. Краевскому от 22 июля 1843 г.

* 32. *Лажечников, И. И.* Заметки для биографии Белинского.—Полное собрание сочинений, т. XII, Спб. 1913. стр. 228–260. (Первоначально: «Московский Вестник» 1859 г., № 17, стр. 106—122. (Лажечников использовал имевшиеся у него воспоминания М. М. Попова).

Автор: писатель, директор Пензенского училища.

Дата составления: 1859 г.

Годы: 1823—1848.

Содержание: Нравы в Пензенских училищах. Б-ий в Чембарском уездном училище. Посещение Лажечниковым Чембарского училища и и награждение Б-го книгой. Тяжелые впечатления Б-го от Чембарского общества. Успехи Б-го в Пензенской гимназии. Познания Б-го. Сближение Б-го с М. М. Поповым. Литературные интересы Б-го. Отношение Б-го к поэмам Пушкина

и к «Борису Годунову». Отъезд Б-го в Москву. Альманах «Пажинки». Посещение Б-им Лажечникова в Москве. Встреча Б-го с Поповым. Изменение воззрений Б-го на Пушкина. Процесс умственного развития Б-го. Драма Б-го. Статья Б-го «Литературные мечтания», впечатление, произведенное ею. Б-ий—критик. Бедственная жизнь Б-го в Москве. Б-ий секретарь Прутикова. (А. М. Полторацкого). Б-ий у Бакуниных. Увлечением Б-го Гегелем Переезд Б-го в Петербург. Частые встречи Б-го с Поповым. Любовь Б-го к спорам. Смерть Б-го. Жена Б-го.

Письмо: к М. М. Попову. Моска, 30 апр. 1830 г.

33. *Максимов.* (Воспоминания) — Зеленецкий, П. П. Исторический очерк Пензенской 1-ой Гимназии с 1804 по 1871 г. Пенза, 1889 г., стр. 45.

Автор: бывший ученик Пензенской гимназии.

Годы: 1825—1826.

Содержание: Внешность Б-го. Замкнутая жизнь Б-го. Успехи Б-го в гимназии.

34. *Никитенко, А. В.* Моя повесть о самом себе. Записки и дневник. Изд. 2-ое, М. В. Пирожкова, Спб. 1905, т. I. стр. 307, 341.

Годы: 1840—1843.

Содержание: Развращающее влияние Б-го на Кольцова. Посещение Б-им А. В. Никитенки.

35. *Одоевский, В. Ф.* Из бумаг князя В. Ф. Одоевского.— «Русский Архив» 1874 г., кн. 1, тетр. 2, стр. 339—341.

Автор: писатель.

Годы: сороковые.

Содержание: Философские познания Б-го. Споры с Б-им.

36. *Орлова, А. В.*—Д [жаншиев], Гр. В семье Белинского,—«Русские Ведомости» 1891 г., № 9, стр. 3.

Автор: сестра жены Белинского.

Годы: 1848.

Содержание: Б-ий среди семьи. Смерть Белинского.

* 37. *Орлова, А. В.* Из воспоминаний о семейной жизни Белинского. — В пользу голодающих. «Лепта Белинского», М. 1892 г., стр. 16—30.

Автор: сестра жены Белинского.

Годы: 1844—1848.

Содержание: Приезд Орловой к Б-му в мае 1844 г. Переезд на дачу в Лесной Институт. Привычки Б-го. Панаев у Б-го. Встречи Б-го с Тургеневым летом 1844 г. Красноречие Б-го. Б-ий на даче летом 1845 г. Манера Б-го работать. Рождение и смерть сына Владимира. Болезнь Б-го. Б-ий за границей. Последние дни Б-го. Смерть Б-го. Дальнейшая жизнь жены и дочери Б-го. Первое знакомство с будущей женой. Б-ий и цензура. Б-ий и Некрасов.

* 38. *Панаев, В. А.* Воспоминания—«Русская Старина» 1893 г., кн. 9, гл. IV и IX, стр. 472—483.

Автор: Инженер, двоюродный брат И. И. Панаева.

Годы: 1839.

Содержание: Соглашение Краевского с Б-им о сотрудничестве в «Отечественных Записках». Сближение И. И. Панаева с Б-им и Аксаковым. Б-ий на обеде у Аксаковых. Наружность Б-го. Приезд Б-го и Панаева в Петербург. Житье Б-го у И. И. Панаева в одной комнате с В. А. Панаевым. Отношение Б-го к своему кружку. Манера Б-го работать по ночам. Доброе отношение Б-го к В. А. Панаеву.

39. *Панаев, И. И.* Воспоминания о Белинском.—Литературные воспоминания, под ред. Иванова-Разумника, изд. «Academia». Л. 1928, стр. 449—514 (Первоначально: «Современник» 1860 г., № 1).

Дата составления: 1860 г.

Годы: 1838—1848.

Содержание: Привлечение Б-им Панаева к сотрудничеству в «Московском Наблюдателя». Первая встреча Панаева с Б-им. Наружность Б-го. Разговор о Кольцове. Частые встречи Б-го с Панаевым. Ссора Б-го с Боткиным и Катковым. Отношение Б-го к Кудрявцеву. Стесненное мате-

риальное положение Б-го. Желание Б-го переехать в Петербург. Бескорыстие Б-го. Приглашение Краевским Б-го в «Отечественные Записки». Переезд Б-го в Петербург. Примирение Б-го с Герценом. Впечатление, произведенное переездом Б-го на петербургских литераторов. Б-ий и Полевой. Отношение к Б-му Пушкина. Кружок Б-го. Литературные вечера кн. Одоевского. Популярность Б-го. Замкнутость Б-го. Отношение Б-го к своим прежним убеждениям. Карточная игра Б-го. Характеристика Б-го. Б-ий спорщик. Б-ий о своей критической деятельности. Б-ий и Комаров. Б-ий и Гоголь. Отдых Б-го. Квартира Б-го. Надеждин о Б-ом. Чтение Гончаровым «Обыкновенной Истории» у Б-го. Увлечение Б-го «Бедными людьми». Страсть Б-го к литературе. Болезнь Б-го. Поездка Б-го на юг России. Проводы Б-го. Отношения Б-го и Герцена. Возвращение Б-го и сотрудничество в «Современнике». Заграничная поездка Б-го. Возвращение из-за границы. Прогрессирование болезни Б-го. Смерть Б-го.

Письма: К И. И. Панаеву: 1. Москва, 1836, апреля 26; 2. Москва, 1838, августа 10; 3. Москва, 1839, февраля 18; 4. Москва, 1839, февраля 27; 5. Москва, 1839, августа 19.

40. *Панаев, И. И.* Литературные воспоминания, под ред. Иванова-Разумника, изд. «Academia». Л. 1928, стр. 60, 108, 115—116, 120, 153, 177—185, 194, 199, 202, 205, 211—213, 220—222, 227, 231—232, 237, 239—245, 247—249, 252, 265, 269—278, 284—288, 299—316, 319, 322—323, 325—326, 334—337, 342, 374—381, 388, 390—400, 402—404, 407—425, 431, 434, 439.

Дата составления: 1860—1861 г.г.
Годы: 1834—1844.

Содержание: Отношение Б-го к повести Панаева «Она будет счастлива». Отзыв Б-го о стихотворении «Вечерни» А. К. Жуковского. Дом, в котором жил Б-ий у Панаева. Разбор Б-го стихотворений Бенедиктова. Е. П. Гребенка и Б-ий. Нелюбовь Б-го к мистицизму. Впечатле-

ние, произведенное «Литературными мечтаниями». Толки о Б-ом среди петербургских литераторов. Б-ий и Кольцов. Кольцов о Б-ом. Популярность «Телескопа». Б-ий о «Библиотеке для Чтения». Нерасположение Надеждина к Б-му. Б-ий—редактор «Московского Наблюдателя». Б-ий у Башуцкого. Нежелание Краевского иметь критиком Б-го. Отношение к Б-му литературных авторитетов. Б-ий об «Истории двух калош» Соллогуба. Б-ий и Лермонтов. Посещение Б-им в ордонансгаузе Лермонтова. Влияние статей Б-го на Панаева. Знакомство Панаева с Б-им. Гегелианство в кружке Б-го. Знакомство Каткова с Б-им. Гегелианство Б-го. Б-ий и Станкевич. Влияние на Б-го семейства Бакуниных. Б-ий и Аксаковы. Б-ий о К. Аксакове. Б-ий и И. Е. Великопольский. Отношение Загоскина к Б-му. Б-ий о Милькееве. Близость Б-го с М. С. Щепкиным. Б-ий и Кетчер. Б-ий и Герцен. Б-ий у Щепкина на даче в «Химках». Б-ий о Гоголе. Б-ий на представлении «Ревизора» в Московском театре. Стесненное материальное положение Б-го. Б-ий в редакции «Московского Наблюдателя». Воззрения Б-го и его кружка в 1839 г. Б-ий и Кудрявцев. Встреча Б-го со студентом Кавелиным. Переход Б-го в «Отечественные Записки». Примирение Б-го с московскими друзьями. Толки об искусстве. «Бородинская годовщина». Б-ий в Петербурге. Проводы Б-го в Петербург. Б-ий и Грановский. Герцен и Б-ий. Недовольство К. Аксакова Б-им. Б-ий о примирении западников с славянофилами. Б-ий у Краевского. Работа над статьями о «Бородинской Годовщине» и Менцеле. Свидание с Бакуниным. Переезд Б-го на новую квартиру. Привлечение сотрудников в «Отечественные Записки». Ссора Каткова с Бакуниным в квартире Б-го. Подсмеивание Б-го над увлечением Москвой. Вторичный переезд Б-го на новую квартиру. Кружок Б-го в Петербурге. Изменение миросозерцания Б-го. Увлечение Б-го Жорж-Занд. Занятия французским языком. Субботние чтения у Панаева. Умение Б-го обходить цензурные

препятствия. Б-ий и Кречетов. Знакомство Б-го с Некрасовым. Б-ий и Некрасов. Отношение Б-го к стихам Некрасова. Б-ий и Тургенев. Отношение Б-го к своим московским друзьям. Отдых Б-го от литературных работ. Умение Б-го привлекать к себе людей. Б-ий и кн. Козловский. Б-ий и Краевский. Б-ий вне своего кружка. Кукольник о Б-ом. Б-ий у А. И. Михайловского-Данилевского. Б-ий у Башуцкого на чтении отрывков из романа «Мещанин». Б-ий и А. С. Комаров. Отношение старого поколения к Б-му. Отношение Полевого к Б-му. Отношение к Б-му петербургских литераторов. Отзыв Б-го о повестях Соллогуба.

41. *Панаев, И. И.* По поводу похорон Добролюбова.— Полное собрание сочинений. Спб. 1888, т. 6, стр. 317—319, 322—323.

Дата составления: 1861 г.
Годы: 1848.

Содержание: Похороны Б-го. Выступление Б-го на литературном поприще. Кружок Б-го. Борьба Б-го против авторитетов.

42. *Панаева, А. Я.* (Головачева). Воспоминания, Изд. 2-ое, под ред. К. И. Чуковского, «Academia», Л. 1928, стр. 93—95, 109, 111—114, 118—120, 125, 129—134, 136—142, 152—153, 156—166, 176—178, 191—196, 198—202, 205—206, 208—223, 227—230, 233—234, 237—241, 260, 273—274, 294—295, 373—374, 403, 495. (Первоначально: «Исторический Вестник» 1889 г.).

Автор: писательница.

Дата составления: конец 80-х г.г.

Годы: 1839—1848.

Содержание: Первое знакомство Панаевой с Б-им. Отзыв Б-го о Мочалове и Каратыгине. Квартира Б-го в Москве. Стесненное материальное положение Б-го. Переезд Б-го в Петербург. Посещение Б-им Панаева. Б-ий и Кольцов. Квартира Б-го в Петербурге. Литературная работа Б-го. Карточная игра Б-го. Б-ий и цензура. Неприязнь Б-го к Соллогубу. Б-ий и Тургенев. Роль Б-го в его кружке. Ознакомление Тургеневым

Б-го с английской и немецкой литературой. Б-ий и И. С. Аксаков. Б-ий у Панаева на чтении Некрасовым «Петербургских Углов». Спор Б-го с Боткиным о Некрасове. Неблагоустроенность жизни Б-го. Переписка Б-го с М. В. Орловой. Б-ий и Лажечников. Поездки Б-го в Москву. Женитьба Б-го. Манера Б-го работать. Рождение дочери. Б-ий на даче в Лесном. Межевич и Б-ий. Б-ий о любви Тургенева к Виардо. Отвращение Б-го к денежным займам. Б-ий о цензурных затруднениях. Б-ий на «фестивале» у Тургенева. Б-ий о крепостном праве. Бакунин о Б-ом. Мнение Б-го о проекте Бакунина устроить колонию русских в Париже. Стесненное материальное положение Б-го. Спор Кетчера с Грановским о Б-ом. Сближение Некрасова с Б-им. Б-ий о расчетливости Анненкова. Издание «Петербургского Сборника». Б-ий и Тургенев. Отношение Б-го к молодым писателям. Достоевский и Б-ий. Проект издания альманаха в пользу Б-го. Разговоры в кружке Б-го о собственном журнале. Поездка Б-го на юг России. Материальные условия, предложенные Б-му за сотрудничество в «Современнике». Приобретение «Современника» и хлопоты по изданию. Отзыв В. И. Панаева о Б-ом. Переговоры Б-го с Тургеневым о сотрудничестве в «Современнике». Б-ий о Панаеве. Радость Б-го по случаю выхода первого номера «Современника». Споры Б-го с Герценом. Болезненность Б-го. Поездка Б-го за границу и быстрое возвращение. Проект издания «Иллюстрированного Альманаха». Отзыв Б-го о романе Панаевой «Семейство Тальниковых». Смерть Б-го. «Письмо к Гоголю» Б-го. Недовольство Достоевского разбором Б-го «Двойника» и «Прохарчина». Первое знакомство Некрасова с Б-им. Анненков и Б-ий. Тургенев о Б-ом. Некрасов и Б-ий. Белинский и Кретчер.

43. *Пассек, Т. П.* Воспоминания. Из дальних лет. Т. II, Спб. 1879, стр. 70, 313—314. 331, т. III, Спб. 1889, стр. 265—266, 326—327. Ср. второе изд. А. Ф. Маркса, 1905.

Автор: мемуаристка, родственница Герцена.
Дата составления: 80-х г.г.
Годы: 1836—1840.
Содержание: Размолвка Б-го с Герценом Сближение Герцена с Б-им в Петербурге. Кружок Б-го. Статьи Б-го. Публицистическая окраска критики Б-го. Сближение Б-го с Грановским и Герценом. Б-ий и Катков.

44. *Полевой, К. А.* Записки. Спб. Изд. Суворина 1888 г., стр. 368—370, 376—378. 380—383, 404, 458—461, 486—487.

Автор: журналист, брат Н. А. Полевого.
Годы: 1836—1840.
Содержание: Первое знакомство Н. А. Полевого с Б-им и их отношения Бедственное положение Б-го, его работа у Надеждина. Характеристика Б-го. «Русская грамматика» Б-го и его исключение из университета. Сближение Б-го с Полевым. Покровительство, оказанное Н. А. Полевым Б-му. Многоречивость статей Б-го. Статья Б-го о Мочалове. Проводы Б-им Н. А. Полевого. Характеристика Б-го. Тяжелое материальное положение Б-го. Ведение Б-им корректуры «Деяний Петра Великого» Голикова. Статья Б-го о Гамлете. Письмо Н. А. Полевого к брату К. А. о Б-ом. Размолвка Б-го с Н. А. Полевым. Отношение Б-го к патриотическим пьесам Полевого. Причина нелюбви Б-го к Н. А. Полевому.

* 45. *Прозоров, П.* Белинский и московский университет в его время. (Из студенческих воспоминаний)— «Библиотека для чтения» 1859 г., № 12, стр. 1—13.

Автор: бывший студент Московского университета.
Дата составления: 1859 г.
Годы: 1830—1832,
Содержание: Холера в Москве и режим казеннокоштных студентов. Жизнь Б-го с автором воспоминаний в № 11. Товарищеские беседы. Столкновение с начальством. Посещение Голохвастова. Недовольство обедами. Споры о классицизме и романтизме. Случай с Б-им на лекции

проф. Победоносцева. Проф. Ивашковский и его лекции греческого языка. Литературные вечера. Чтение драмы Б-го. Сведения о драме со слов земляка Б-го П. Ф. Попова. Увлечение студентов лекциями Н. И. Надеждина. Исключение Б-го из университета. Переезд его на квартиру Иванова. Перевод романа Поль-де-Кока «Монфермельская молочница». Посещение Прозоровым Б-го. Кружок Станкевича. Переселение Б-го к Н. И. Надеждину. «Литературные мечтания» и улучшение в положении Б-го. Последнее свидание Прозорова с Б-им.

46. *Рыбкин, Н.* Материалы к биографии Белинского и Лермонтова.—«Исторический Вестник» 1881 г., т, VI, № 10, стр. 365—376.

Годы: 1828.

Содержание: Рассказы о лечении отцом Б-го Николая Павловича. Дом Б-го. Альбом Б-го (1828).

* 47. *Сатин, Н. М.* Отрывки из воспоминаний. — «Почин», сборник общества любителей российской словесности на 1895 г. М. 1895, стр. 237—241

Автор: поэт 30-х—40-х годов.

Годы: 1837.

Содержание: Встреча Б-го с Сатиным на Кавказе. Ежедневные посещения Б-им Сатина. Знакомство Б-го с Лермонтовым. Разговор о Вольтере и шутки Лермонтова. Обидчивость Б-го. Отзыв Лермонтова о Б-ом и отношение Б-го к Лермонтову до 1840 года.

48. *Семенов-Тян-Шанский, П. П.* Мемуары. Т. I. «Детство и Юность» (1827—1855). П. 1917 г., стр. 194—195, 201, 266.

Автор: известный общественный деятель.

Дата составления: после 1901 г.

Годы: 1846—1848.

Содержание: Знакомство Б-го с Н. Я. Данилевским. Размолвка Достоевского с Б-им. Причастность Б-го к кружку Петрашевского.

49. *Соловьев, В. С.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском. — «Историчекий Вестник» 1881 г., т. IV, кн. 3, стр. 607—608.

Автор: писатель.
Годы: 1845.
Содержание: Рассказ Достоевского о посещении Б-го в 1845 году. Цельность натуры Б-го.

50. *Станкевич, А. В.* Н. Х. Кетчер. Воспоминания.— «Русский Архив» 1887, кн. 1, вып. 3, стр. 359, 361.
Автор: племянник Н. В. Станкевича.
Дата составления: 1886—1887 г.г.
Годы: сороковые.

Содержание: Привлечение Б-им Кетчера к сотрудничеству в «Отечественных Записках». Редактирование Кетчером собрания сочинений Б-го. Размолвка и примирение Б-го с Кетчером.

51. *Старчевский, А. В.* Один из забытых журналистов (из воспоминаний литератора). — «Исторический Вестник» 1886 г., кн. 2, стр. 380—381.
Автор: литератор.
Годы: 1845—1847.

Содержание: Разрыв Б-го с Краевским Специальность и трудность критических статей Б-го для широкой публики, Приобретение Панаевым «Современника» и сотрудничество в нем Б-го.

52. *Струговщиков, А. Н.* Михаил Иванович Глинка. Воспоминания. — «Русская Старина» 1874 г., кн. 4, стр. 701—702, 709—711.
Автор: литератор.
Годы: 1840—1841.

Содержание: Б-ий на вечере у А. Н. Струговщикова. Б-ий и Панаев. Отношение Б-го к Н. Кукольнику,
Письма: Отрывок из записки Б-го Струговщикову о Губере.

53. *Сухотин, С. М.* Автобиографическая записка.— «Русский Архив» 1894, кн. III, вып. 9, стр. 73—75.
Автор: военный.
Дата составления: 1875 г.
Годы: 1835—1848.

Содержание: Б-ий – учитель Сухотина по грамматике и реторике. Нервность Б-го. Сотрудничество Б-го в «Молве». Споры о театре. Отношение Б-го к Мочалову и Каратыгину. Бенефис Каратыгина и негодование Б-го по поводу успеха «Роксоланы». Беседа с Б-им о литературе. Отказ Б-го от занятий. Свидания с Б-им в 40-х годах у Панаева. Увлекательность речей Б-го. Недостаточность образования Б-го. Отсутствие религиозных убеждений. Отношение Б-го к православию и русской истории. Кружок Б-го.

* 54. *Тургенев, И. С.* Воспоминания о Белинском. — Полное собрание сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1898 г., т. XII, стр. 18—58. (Ранее «Вестник Европы», 1869 г., кн. 4, стр. 695—729).

Дата составления: 1869 г.
Годы: 1836—1848.

Содержание: Толки о Б-ом в Петербурге. Статья Б-го о Бенедиктове. Посещение Тургеневым Б-го по выходе «Параши». Встречи с Б-им. Наружность Б-го. Характер Б-го. Источники философских сведений Б-го. Споры с Б-им. Образование Б-го. Эстетическое чутье и критическая проницательность Б-го. Шутки с Краевским. Чутье современности у Б-го. Б-ий—литературный критик. Значение критики Б-го. Б-ий-идеалист. Отрицание Б-го. Западничество Б-го. Любовь к России и русскому у Б-го. Чутье русского языка. Серьезность критики Б-го. Взгляд Б-го на искусство. Отношение Б-го к живописи, музыки и театру. Комедия Б-го «Пятидесятилетний дядюшка». Статья Б-го о Менцеле. Статья Б-го «Бородинская годовщина». Гегелианство в статьях Б-го. Манера Б-го работать. Журнальная работа Б-го. Карточная игра Б-го. Беседы у Б-го. Б-ий в редакции «Современника». Отношение Б-го к литературной деятельности Тургенева. Отношение Б-го к начинающим писателям. Б-ий и Достоевский. Б-ий и Некрасов. Нетерпимость Б-го. Скромность Б-го. Б-ий за границей. Стесненное материальное положение Б-го. Отношение Б-го к женщинам. Смерть Б-го.

Письма: Выдержки из писем Б-го И. С. Тургеневу от 19 февраля — 3 марта 1847 г., 1 (13) марта 1847, 12 (24) апреля 1847.

* 55. *Тургенев, И. С.* Встреча моя с Белинским. (Письма к Н. А. Основскому).—Полное собрание сочинений, И. С. Тургенева, изд. А. Ф. Маркса, Спб. 1898 г., т. XII, стр. 359—363. (Первоначально: «Московский Вестник», 1860 г., январь, № 3).

Дата составления: 1859 г.

Годы: 1842—43.

Содержание: Первое знакомство Тургенева с Б-им. Наружность Б-го. Разговор с Б-им. Отзыв его о своих статьях предшествующего года. Характер Б-го. Красноречие Б-го. Посещение Тургеневым Б-го в течение зимы. Сближение во время пребывания Б-го на даче в Лесном. Отзыв Б-го о поэме Тургенева «Параша». Отношение его к литературной деятельности Тургенева. Дача Б-го в Лесном. Интерес Б-го к философии Гегеля. Критическая деятельность Б-го. Влияние на него московского кружка. Отношение Б-го к Пушкину, Гоголю и Лермонтову.

* 56. *Тютчев, Н. Н.* Мое знакомство с В. Г. Белинским.— Белинский. Письма, под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, Спб. 1914 г., стр. 444—451.

Автор: член кружка Б-го в Петербурге.

Дата составления: 1874 г.

Годы: 1842—1848.

Содержание: Первое знакомство Тютчева с Б-им у Панаева. Впечатление, произведенное Б-им на Тютчева. Квартиры Б-го. Художественные вкусы Б-го. Материальное его положение. Манера работать. Рассказ о сопротивлении Кронеберга эксплоатации Краевского, и отношение к нему Б-го. Женитьба Б-го. Отчужденность Б-го от женского общества. Семейная жизнь Б-го. Отношение Б-го к музыке. Жизнь Б-го на даче. Поездка на юг России и за границу. Вызов в третье отделение. Смерть Б-го.

57. *Фридрихс, Е.* Мое знакомство с семьей В. Г. Белинского.—«Русская Старина» 1913 г., № 1, стр. 159—161,

Годы: 1862—1863.

Содержание: Встреча с семьей Б-го в Гапсале летом 1862 и летом 1863 г. в Москве.

58. *Чембарец*. Белинский в Чембаре.—«Сын Отечества» 1898 г., № 140 от 26 мая, стр. 2.

Автор: земляк Белинского.

Годы: 1811—1836.

Содержание: Происхождение Б-го, его фамилия. Дед и отец Б-го. Уездное общество. Мать Б-го. Домашняя обстановка. Дом, в котором жил Б-ий. Первоначальное обучение. Б-ий в Чембарском уездном училище. Литературные интересы. Поступление в Пензенскую гимназию. Дом Чембарского уездного училища. Посещение Б-им Чембара. Смерть матери и отца Б-го

Письма: выдержки из писем Б-го к В. П. Боткину от 26 марта 1846 г. и декабря 1839 г.

* 59. *Шмаков, И.* Белинский в Симферополе.—«Древняя и новая Россия» 1876 г., т. I, № 2, стр. 197—198.

Автор: симферополец.

Дата составления: 1875—1876 г.г.

Годы: 1846.

Содержание: Приезд Б-го в Симферополь. Знакомство Шмакова с Б-им. Прогулка Б-го по окрестностям Симферополя. Здоровье Б-го. Внешность Б-го.

60. *Шугаев, П. К.* Из колыбели замечательных людей.—«Живописное Обозрение» 1898 г., № 22, от 31 мая, стр. 438—443.

Годы: 1811—1831.

Содержание: Село Белынь. Дед и отец Б-го. Отец Б-го и Д. А. Мосолов. Материальное состояние Б-их. Б-ий в Чембарском уездном училище. Посещение училища Лажечниковым. Поступление и ученье Б-го в Пензенской гимназии. Б-ий и М. М. Попов. Исключение Б-го из гимназии и переезд его в Москву. «Журнал моей поездки в Москву и пребывания в оной» Б-го. Б-ий в Московском университете.

Приложение: «Журнал моей поездки в Москву и пребывание в оной» Б-го. (Письмо Б-го к А. П. и Е. П. Ивановым конца 1829 г.).

61. *Щ. (Щетинина, Над. Ник.)*—Погодин, М. П. Дорожные Записки, «Русский» 1868, № 15, стр. 1—3. Здесь передан рассказ г-жи Щ.

Автор: родственница Б-го.

Содержание: Дед и отец Б-го. Мать Б-го. Б-ий в доме Ивановых в Чембаре. Характер Б-го. Б-ий в Московском университете. Характер Б-го. Политические и религиозные взгляды Б-го. Жена и дочь Б-го.

62. *Щепкин, М. А.* Воспоминания о М. С. Щепкине.—«Исторический Вестник» 1900 г., т. 81, № 8, стр. 455.

Автор: внук М. С. Щепкина, записавший рассказы родственников.
Годы: тридцатые.

Содержание: Встреча Пушкина с Б-им у М. С. Щепкина. Предложение Пушкина Б-му сотрудничать в журнале. Близость Б-го к Щепкину.

63. *Щепкина, А. В.* Воспоминания. Изд. Сергиев-Посад. Моск. губ., 1915, стр. 77, 80, 127—129.
Автор: сестра Н. В. Станкевича.
Годы: 1846.

Содержание: Б-ий в кружке Станкевича. Встреча А. В. Щепкиной с Б-им в Москве в 1846 г. Наружность Б-го. Его болезненное состояние. Разговор Б-го с Тургеневым о театре и игре Мочалова.

64. *Яновский, С.* Воспоминания о Достоевском.—«Русский Вестник» 1885 г., т. 176, кн. 4, стр. 817.

Автор: врач.
Годы: 1846—1848.

Содержание: Отношение Достоевского к молчанию Б-го о его произведениях.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЗАГЛАВИЙ К БИБЛИОГРАФИИ ВОСПОМИНАНИЙ [1])

[1]) Цифрами отмечены порядковые №№ воспоминаний.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ К ВОСПОМИНАНИЯМ

СОДЕРЖАНИЕ

ОПЕЧАТКИ

Стр. 15, последняя строка снизу, в примечании

Напечатано:	Следует читать:
98 000	980 000

Стр. 18, 6 строка снизу

Напечатано:	Следует читать:
За последнее время мы имеем факты образования „лево“-правого двурушнического характера. Такое оживление в платформе правооппортунистического характера	За последнее время мы имеем факты образования „лево“-правого двурушнического блока, который был организован на платформе правооппортунистического характера.

Цена 2 р. 40 к.

Переплет 50 к.

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО БЫТА

ВЫШЛИ:

А. Я. Панаева. Воспоминания. Под редакцией и с примечаниями К. И. Чуковского. Изд. II (Распродано).

И. И. Панаев. Воспоминания. Под редакцией и с примечаниями Р. В. Иванова-Разумника. (Распродано).

Е. А. Сушкова. Записки. Под редакцией и с примечаниями Ю. Г. Оксмана. (Распродано).

П. В. Анненков. Воспоминания. Под редакцией и с примечаниями Б. М. Эйхенбаума.

Д. В. Григорович. Воспоминания. Под редакцией и с примечаниями В. Л. Комаровича.

А. А. Блок. Письма к родным. Под редакцией и с примечаниями М. А. Бекетовой. (Распродано).

Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка. Под редакцией и с примечаниями И. С. Зильберштейна.

А. П. Чехов. Литературный быт и творчество. По воспоминаниям, дневникам и письмам. Сост. Вал. Фейдер.

А. П. Чехов. Несобранные рассказы. Собрал и комментировал И. С. Зильберштейн.

В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. Под редакцией Н. К. Пиксанова. Составил и комментировал М. К. Клеман.

А. П. Керн. Воспоминания. Под редакцией и с примечаниями Ю. Н. Верховского.

Цена 2 р. 40 к.
Переплет 50 к.







До нас дошло лишь небольшое число воспоминаний современников о В. Г. Белинском, однако, качественно эти воспоминания очень высоки.

Обаятельная личность В. Г. Белинского влекла к нему всех выдающихся современников.

Поэтому список мемуаристов, писавших о Белинском, заключает в себе такие блестящие имена, как Тургенев, Гончаров, Достоевский, Кавелин.

Воспоминания, собранные в этом сборнике, охватывают всю жизнь Белинского, от детства до кончины, и создают в итоге яркий литературный, бытовой и психологический образ знаменитого критика.

В сборнике воспроизведены все достоверные портреты Белинского.